МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Л. В. Арнольдов

Жизнь и Революция

Гроза пятого года

Белый Омск



Л. В. Арнольдов

Жизнь и Революция

Гроза пятого года

Белый Омск



Москва
Берлин
2021

УДК 94(47)"19"0
ББК 63.3(2)532-8+63.3(2)612,12-8
А84

Арнольдов, Л. В.

А84 Жизнь и Революция : гроза пятого года. Белый Омск / Л. В. Арнольдов. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — 244 с.

ISBN 978-5-4499-1910-6

В мемуарах писателя-эмигранта, журналиста, китаеведа Льва Валентиновича Арнольдова (1894–1946 гг.) живо и ярко изложены основные события своей жизни, приходящейся на трагические, переломные моменты российской истории: революции 1905 и 1917 годов; Первая мировая война, завершившаяся позорным Брестским миром; братоубийственная Гражданская война. Читатель познакомится с детскими впечатлениями автора в бытность «былой благополучной Сибири», узнает о годах учебы в Томском университете и его работе в правительстве А. В. Колчака в Омске — столице белой России.

Эта книга воспоминаний Л. В. Арнольдова считается самой известной и востребованной из всего творческого наследия писателя.

УДК 94(47)"19"
ББК 63.3(2)532-8+63.3(2)612,12-8

ISBN 978-5-4499-1910-6



Оглавление

Вместо предисловия.
О коллекционировании и мемуаристах 6
О семье и школе 15
О былой благополучной Сибири 19
Первая революция 27
Белый Омск. Война предтеча 88
Как она пришла 94
Начало начал 100
«Своеобразная аналогия» 106
На пути в столицу 113
Сановники на ветке 122
Органы осведомления 129
Адмирал на фронте 138
Писатель об Адмирале 145
Персонажи и фронда 151
Визит к Минфину 159
Внешняя политика 166
Омск снаружи 174
Суррогат Парламента 179
Партия, пытавшаяся править 186
Омские интервью 192
Проф. Болдырев 200
Лембич в Омске 206
Омский Парнас 211
Последнее Прости 217
Колчак, как человек 222
В чем причины? 233

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне!

Эту книгу, в которой немало страниц посвящено личным воспоминаниям, я не хотел бы все-таки причислять к мемуарной литературе.

В своеобразной форме воспоминаний, преломляя факты личной жизни через призму крупнейших событий эпохи, мне хотелось показать, в более или менее художественной форме, как герой повествования, в данном случае — автор, один из миллионов русских, воспринимал события исторического масштаба, участвовал в них и их расценивал.

Характер повествования давал мне право цитировать и других авторов, когда их мысли или оказывали влияние на мои мысли, или совпадали с ними или, по моему убеждению, были выражены ярче, глубже, убедительнее, чем это мог бы сделать я сам.

Настоящим признанием я вовсе не хочу обезоруживать гг. критиков: мне просто хочется объяснить, в чем я вижу своеобразие формы настоящего повествования.

Принимая заранее с благодарностью указания, которые могут быть сделаны читателями, и сам, сознавая недостатки своего труда, одного упрека я, казалось бы, не заслуживаю — упрека в неискренности.

Я хотел быть честен в своих мыслях о России, честен и искренен до конца. Во что я веровал и верую, то и исповедую.

В заключение мне бы хотелось поблагодарить мою Мать, с которой читались корректуры, как этой книги, так и двух предыдущих.

15 июля 1935 г.
Шанхай.

Вместо предисловия.
О коллекционировании и мемуаристах

Коллекционеры, за редкими исключениями, всегда интересные люди: содержательные, чуткие, полные самых удивительных знаний, иногда фанатики. Мне, во всяком случае, всегда приятно бывать в их обществе.

Конечно, не всех коллекционеров я понимаю. Я довольно равнодушен к нумизматам и филателистам, хотя никогда не позволил бы себе подшучивать над их страстью. Просто, я ей не «созвучен». Смотрю на старинную монету равнодушно и еще равнодушнее смотрю на редкую марку, но сами нумизматы и филателисты уже только потому, что они нумизматы или филателисты, то есть коллекционеры, мне симпатичны.

Читая В. В. Розанова, например, его «Уединенное», «Опавшие листья», я неизменно останавливал взгляд на ремарке, под тем или иным размышлением, наблюдением, афоризмом: — «За нумизматикой».

И мне было приятно знать, что наш покойный Государь был коллекционером редких марок, так же как и его двоюродный брат, английский король Георг V, и оставил после себя альбомы, которым, как утверждают филателисты, «цены не было». И я всегда иду на встречу юным филателистам и филателисткам (последних меньше), когда они меня просят сберегать для них редкие марки.

Также не стал бы я сам увлекаться собиранием тростей и набалдашников; к ним и к коллекционированию старинных часов, табакерок, оружия — я «несозвучен». Но, вот, коллекционирование трубок мне уже по душе. Коллекция старинного фарфора, что может быть восхитительнее? Или хрусталя? Но для этого надо непременно иметь хоромы, много денег, надо путешествовать.

Точно также, казалось бы, надо быть человеком с большими средствами для того, чтобы собирать картины. «Кар-

тинная галерея»! Чтобы она не выглядела убого, нужен, по крайней мере, большой барский дом. Впрочем, и без «галереи», можно в любой квартире собрать то количество картин, которое средства и условия жизни позволяют. Только надо уметь собирать.

Коллекционер художественных вещей, прежде всего, должен быть человеком художественного вкуса. Затем, он должен быть человеком с характером, должен уметь себе в своих желаниях отказывать, крепко держать себя в руках, чтобы не дать развиться в себе чувству, часто очень стойкому и страстному, качество подменять количеством. Затем, лучше всего коллекционерам как-то специализироваться в своей страсти. Если человек с ограниченными средствами, пристрастился к собиранию картин, спасительнее сразу же начать не просто собирать картины, а собирать какой-либо один из циклов. Например, под нашими широтами; — «Китай в отражении иностранного художника». Ограничения могут быть или в смысле техники исполнения собираемых картин — только «масло», например. Или еще по национальности. Собираю только те картины, маслом, отражающие Китай, которые созданы русскими художниками.

Также может быть и с книгами. «Русский роман за рубежом». Или только книги по китаеведению. Только по китаеведению на русском языке. И то расходов не оберетесь.

Впрочем, можно себя так уж и не ограничивать. И, затем, не все коллекционеры люди с ограниченными средствами. Три четверти из них, наоборот, люди, прежде всего, со средствами. Для любой коллекции нужно место, где ее держать. Кто живет в одной, в двух комнатах, тому поневоле приходится коллекционировать что-либо исключительно миниатюрное.

Хотя можно обладать всеми особенностями психики коллекционера, иметь вкус, нюх, талант к собиранию вещей, распространять, создавать вокруг себя интеллектуальную

среду человека, живущего в старинных, художественных, редкостных вещах, если даже в вашем обладании есть всего на всего несколько драгоценных вещей. Их можно так же трепетно и проникновенно беречь, за ними внимательно ходить, их холить, ласкать глазами и пальцами трепетных рук, как и при наличии несметных сокровищ, собранных во дворцовых залах.

Небольшие, но умело собранные коллекции, мне всегда милее частных коллекций Генри Форда или газетного магната Херста, которые могут позволить себе все, что им при коллекционировании угодно, даже роскошь перевозить через океан целые замки или здания исторического значения: камешек по камешку, каждый кирпич под особым номером и в тщательной упаковке.

От дней моей ранней юности унес я с собою в жизнь свежее воспоминание о провинциальной учителе словесности, у которого в комнате был отведен под книги всего один шкафчик, но в нем были: «Кипарисовый ларец» Иннокентия Анненского, «Лицейские рукописи Пушкина», в издании князя Олега Константиновича, номера журнала «Золотое Руно», затея купца-эстета Рябушинского, «Аполлон» за несколько лет, философский журнал «София», две книги П. Муратова, среди других, книжка Розанова: «Когда начальство ушло» в бордовой обложке с наивным рисуночком и несколько простых и внешне казенных книг в сероватых корках Владимира Соловьева. Да, еще была книга, большая, толстая, важная, сочинение отца Флоренса: «Столп и утверждение истины». Мне приятно было брать эту книгу в руки, хотя я и знал, что никогда в жизни читать ее не буду. В философическую теологию мне пути были заказаны.

Еще один пример «коллекционера в душе», который «все свое носил с собою»... Это был доцент Л. А. Зандер, молодой начинающий «гэлэртер», путешественник, любивший описывать свои странствования, человек, гулявший по Шанхаю,

за короткое свое пребывание, в летнем китайском шелковом одеянии, деятель христианского студенческого движения, большой поклонник Гете, «Фауста» которого он неизменно носил при себе, хорошенький томик в сафьяновом переплете и, в свободную минуту, отдыхал над ним, читая и перечитывая любимые строфы знаменитого произведения.

Я, говоря о коллекционерах, не могу не вспомнить случая, когда мне довелось придти к врачу с мучившей меня и угнетавшей болезнью, и когда он, за отсутствием места в своей приемной, любезно предложил мне пройти в его личные апартаменты и там подождать своей очереди. Ждать пришлось около часа. Но я не пожалел, что так далека оказалась моя очередь и поймал себя на смешной мысли, что, не приключись со мною неприятная и раздражающая болезнь, я не имел бы случая ознакомиться с интересной коллекцией, которую этот врач собрал в своем доме — вся обстановка пяти комнат: только китайские вещи и, среди них, несколько редкостных китайских вещей и много картин художников-европейцев с отражениями Китая. Я переходил от картины к картине, от шкафа к шкафу, я не сетовал на ожидание, забыл о своей болезни. Увлекает и волнует не только коллекционирование, но даже ознакомление с хорошими коллекциями.

Но коллекционировать, по моему убеждению и опыту, можно не только драгоценные или художественные вещи, картины, фарфор, книги, коллекционировать можно не только рукописи, исторические документы, можно коллекционировать в памяти и на бумаге, в воспоминаниях, факты жизни, образы истории, былые впечатления, наиболее яркие моменты нашего существования, которые живут только в нашем воображении, до тех пор, пока мы не поведали их бумаге, для сохранения в памяти других людей.

Для тех, кто любит людей, всех вообще или известную их разновидность, кто ими интересуется, их изучает, для тех

жизнь, особенно бурные ее периоды, представляют неисчерпаемый кладезь всяческих творческих вдохновений.

Я наблюдал, помню, картину боя, смотрел, как шли в наступление части, шли на пулеметы противника, и думал, что ведь каждый в этих цепях представляет собою целый сложный мир мыслей, чувств, переживаний, каждый чудо творческого искусства Природы, сын Божий, как прекрасно и проникновенно учит нас думать Священное Писание.

Так что коллекционирование, в описаниях, интересных людей и событий — это тоже увлекательное занятие. Недаром великие поэты, великие писатели, истолкователи душ людских и фактов жизни, называются на чудесном русском языке нашем: властителями дум.

* * *

Если мы употребим термин «мемуары» в широком смысле, включим в него не только нарочитые воспоминания, но и письма, записи современников о наиболее поражавших их воображение людях и событиях, добавим сюда же дневники и прочие «документы эпохи», то трудно представить себе какой-либо период писанной истории человечества, от которого не сохранилось бы «мемуаров» в этом расширенном смысле слова.

И Тацит, и Плутарх, и Тит Ливий и те, буквально сотни, китайских летописцев, которые от древности прилежно составляли хроники событий истории Китая, вплоть до великого римского полководца, замечательного писателя и оригинального человека, каким был Гай Юлий Цезарь с его «Комментариями к Гальским войнам», все могут быть подведены под рубрику мемуаристов.

А средние века, в особенности в Европе, быстро расцветавшей на путях письменности: не только сочинители жизнеописаний, но и государственные деятели, и философы, поэты и ученые, все, в той или иной степени, обогащали ме-

муарную литературу: Марко Поло и Леонардо да Винчи, Монтень и Бэкон Веруламский, Маккиавелли и Гоббз, Спиноза и Ньютон, Сервантес и Данте, Ян Гус и Джордано Бруно, Лютер и Эразм Роттердамский, Лейбниц, а потом Дидро, Жан-Жак Руссо, прославленный фарнейский мудрец Вольтер, Мирабо, Гете, вплоть до бесчисленных писателей близкого нам девятнадцатого столетия, все в той или иной форме, отдавали дань мемуарному творчеству. Если некоторые из них сознательно и упрямо объективировали свои мысли и рассуждения, ученики их и современники, в своих воспоминаниях о них, и в своих письмах неизбежно субъективировали тех, кто выделялся над другими, спускали небожителей на землю, помогали их нам потом «коллекционировать», под пером таких писателей, как Ипполит Тэн, Карляйль, у нас Д. С. Мережковский, а, за самое последнее время, быстро вошедшие в моду: у англичан — Литтон Страки, у французов — Андрэ Моруа, у немцев — Эмиль Людвиг и Стефан Цвейг, у нас — неподражаемый М. А. Алданов.

Девятнадцатый век был особенно богат мемуарами! Книг написаны были целые горы. Быстрое развитие и удешевление во всех смыслах типографского дела, расширение круга читателей, умение и желание хранить документы прошлого, создание огромнейших библиотек и частных книгохранилищ, не говоря уже о музеях и их должной охране силами государства, все это сделало мемуарную литературу одним из культурных двигателей человечества.

Наша эпоха, вплоть до переживаемых нами тридцатых годов двадцатого века, уделяет мемуарам уже такое место, какого не могла бы уделять никакая из предшествовавших эпох.

Мемуары действительно занимают центральное место в сознании просвещенных людей. Не только печатаются тысячами мемуары, но тщательно сохраняются, в специальных зданиях, комплекты всех повременных изданий — газет

и журналов, подбираются документы эпохи, сразу и даже во время событий; тут же они обрабатываются, и, по-возможности скорее, издаются.

Создается такое впечатление, что люди борются за свой успех, достигают высших ступеней социальной лестницы, делаются министрами, князьями церкви, писателями, полководцами, учеными, актерами, художниками — словно только для того, чтобы, в эпоху наиболее активного периода своей жизни, самим подбирать свои письма или сохранять их копии, писать дневники, хранить фотографии, а теперь и говорящие о себе фильмы, сберегать разнообразнейшие документы, вплоть до приглашений на торжества и приемы, а потом, как только время и средства позволяют, засесть писать мемуары, издавая к ним еще и послесловия, библиографию и сборник появившихся в печати рецензий.

Еще грохотала война, люди десятками тысяч шли умирать каждый за свое отечество, подготавливались или уже свирепствовали, бушевали, обильно сдабриваемые человеческой теплой кровью, революции, а документы все подбирались и подбирались, мемуары все писались и писались.

Наиболее характерно для нас эта связь прошлого с настоящим, отмечена в истории русской революции. Как ни была она разрушительна и мятежно суматошна, она, все-таки, оставила такое количество и документов, и личных воспоминаний, и объемистых книг, специальных трудов, что вряд ли в будущем историки будут сетовать на нас за то, что мы не заботились об облегчении их работы по обследованию нашей эпохи. Левая власть состязалась с властями правой окраски в том, чтобы, тотчас же по своему утверждению, делать по возможности все, что требуется для того, чтобы сохранять документы.

Свершилось 17 июля 1918 вода страшное цареубийство в Екатеринбурге и, вот, уже через несколько недель после этого преступления и следователь по важнейшим делам Н. А. Соколов и специально назначенный Омским прави-

тельством ген. М. К. Дитерихс, сохраняют для потомства все, что они были в силах найти в Ипатьевском Доме и около него, в Екатеринбурге и по соседним городам.

Как не бедны мы материальными средствами, как не рассеяны мы по всему свету, как не раздроблены, но давно уже для наших эмигрантских документов учреждены особые книгохранилища и центр-архивы по истории русской революции и в Вашингтоне, и в Праге, и в Белграде, и в Брюсселе.

Но нам, эмигрантам, конечно, невозможно все-таки состязаться с той грандиозной работой по сбору и сортировке исторических материалов, какая ведется во всех европейских государствах и в Америке.

Совсем особую форму принимают и некоторые мемуары отдельных выдающихся личностей современности. Только недавно мы писали, в связи со смертью Раймонда Пуанкаре, что несмотря на то, что он почти до самой смерти вынужден был активно участвовать в политике, он успел написать несколько объемистых томов своих воспоминаний, которые так полно и тщательно документированы, что выходят за пределы рядовых мемуаров, превращаясь в грандиозную панораму целой сложной, пестрой и, если угодно, великой эпохи. Столь же обильны фактами и документами воспоминания Винстона Черчилля, последний том которых, «Афтэрмасс», может быть назван сам по себе самостоятельным и, притом, выдающимся художественно-историческим произведением.

У нас, в эмиграции, на русском языке, историю подарил замечательными воспоминаниями ген. А. И. Деникин, писали мемуары С. Д. Сазонов, П. Н. Милюков, Г. К. Гинс, ген. А. С. Лукомский, А. П. Извольский и, в начале 1934 г., вышли два объемистых тома воспоминаний графа В. Н. Коковцева. Не представляется, впрочем, никакой возможности полностью перечислить все те мемуары, которые за последние годы были посвящены истории русской революции.

И, что же? Разве от этого обилия воспоминаний и книг мемуарного характера иссякает к ним читательский интерес? Отнюдь нет! Статистика всех библиотек мира, в частности и особенности статистика всех эмигрантских библиотек, неопровержимо свидетельствует, что читатель жадно знакомится с теми воспоминаниями, которые его непосредственно интересуют. Мемуарная литература имеет спрос наряду с беллетристикой. Некоторые мемуары вызывают мировую сенсацию. С мемуаристами, за читательское внимание, соревнуют романисты, вроде М. А. Алданова, пишущие на исторические сюжеты.

Вот почему и мы решили подарить читателя этой книгой, которая, под углом нашего зрения, должна отразить бурную эпоху, через которую прошла Россия в первой четверти двадцатого века.

О семье и школе

В 1898 г., за семь лет до первой революции и за девятнадцать лет до второй, В. В. Розанов писал:

«Никто не обращал внимания, но это факт любопытный, что политическая струйка, которая всегда так билась и бьется среди учеников средней школы, не находит в ней совершенно почвы для себя, раз она руководится частным лицом.

«Статистические разыскания, где следует и кому следует, могли бы открыть глаза на эту печальную для государства истину, я же приведу здесь ее объяснение. Насколько мне пришлось испытать и наблюдать (а мои наблюдения были очень близки и довольно обширны) биение струйки этой всегда восходит, как к своему первому источнику, к чисто ученическому раздражению, против преподавателей или кого-нибудь из них.

«При отсутствии индивидуализма отношений между учениками и учителем, личность ученика, при соблюдении всех должных форм, если и не оскорбляется, то как-то отвергается преподавателем, и притом в лучших чертах своих, — что после горечи порождает раздражение. Это раздражение, обобщаясь и обезличась, переходит с человека на учреждение, и, передвигаясь от последнего по сцепам бюрократического механизма, доходит до источника всех их — государства.

«В 13–14 лет ученик раздражен двумя-тремя учителями, в 15–16 раздражен заведением, которого один орган так дразнит, так мучает его ум и сердце.

«В частном учебном заведении, за отсутствием всех этих соединяющих звеньев, за его изолированностью от государства, всякое раздражение не может проступать за его стены, не обращается ни на что далее лежащее. Даже более, в случае чрезвычайных причин для такого раздражения (т. е. если учебное заведение очень дурно), невольно пробуждается мысль, что «все шло бы лучше, если бы было в руках государства, если бы

последнее обуздывало частный произвол», т. е. возникает смутная безотчетная к нему привязанность, надежда на него. Но мы взяли прямо злоупотребление; при нормальном же положении, частное учебное заведение неизмеримо оживленнее внутри (индивидуализм отношений), нежели казенное заведение, всегда почти, мертвенное внутри; и вся энергия индивидуальных сил, не сдавленная общностью форм, уходит на эту жизнь. Здесь государство не упоминается, о нем не думается; просто все обращены к ближайшим предметам своих занятий, игр, забав, — т. е. именно тем и так, чем и как никогда невозможно принудить заниматься учеников в казенных учебных заведениях.

«Таким образом, в отношении политическом те и другие можно сравнить с отношением к какому-нибудь эпидемическому заболеванию двух местностей, из которых одна обставлена бдительными докторами, но почва ее в высшей степени пропитана дурными миазмами, вода отравлена, питание не свежее; и доктора, не помогая ни в чем, только научно констатируют смертность. Другая же местность, правда, лишена докторов, не имеет медикаментов, но, будучи совершенно здорова по условиям, и не нуждается в них.

«Хочешь ли сберечь юношество для государства, береги его дальше от государства — это правило, конечно, не административной техники, но политической мудрости».

Увы, никто не вчитался, из тех, кому следовало, в эти мудрые слова. Никто не внял советам Розанова, тогда как Розанова надо было пригласить советником при министерстве просвещения, прося его посещать русские школы, давать общие указания тем, кто сочиняли школьные положения и «циркуляры». И, главное, эти осеняющие, руководящие мысли высказывались, походя, играючи, Розанов был преисполнен ими. То, что я цитировал, это только... сноска.

И, далее, читаем у Розанова, опять в добавочной сноске, от той же поры:

«Будучи еще студентом, мне приходилось часто бывать в одном редко благовоспитанном семействе; вставая из-за вечернего чая, хозяйка дома заметила мне однажды:

«Вот и опять я останусь одна».

«На мое недоумение, она сказала:

«Я только и имею радость видеть мужа и детей (студент и два гимназиста) во время обеда и чая, все остальное время дня я провожу одна»...

«С тех пор я стал наблюдать за этой стороной нашей жизни: действительно только малолетние, до 8-ми летнего возраста, составляют теперь деятельных и чувствуемых членов семьи, они подрастают — и родители остаются совершенно одни.

«Думается, что отвратительное развитие клубной жизни, желание старших куда-нибудь ехать, с кем-нибудь сесть за карты и пр., не без связи, с этим видоизменением в характере семьи, какое произведено государственным обучением.

«Семья, дети которой вдали от нее, апатично отвечают внешними лишь формами своей души на внешние же и общие требования им чуждых людей, становится безжизненна, пуста. Она как то глохнет в своей поэзии, как глохнет в индивидуализме своем свежий мир, ею порожденный.

«Дети облагораживают семью; без них, давая им лишь помещение и «стол», в старших членах своих она невольно, неудержимо обращается к грубым внешним удовольствиям; она перестает быть семьей в истинном, христианской значении и становится лишь дружеским сожительством.

«Все обращены в ней к предмету своих особых забот, ушли в свой отдельный мир, и друг на друга лишь временно оглядываются, когда имеют в этом нужду. Быть может, заботы эти и поучительны; они, во всяком случае, полезны, и что касается до детей, ежечасно обогащают их сведениями; но кто же оценил, кто отвергнул, найдя их меньшими, те непередаваемые, часто безмолвные и неизгладимые впечатления,

которые проходят здесь между матерью и сыном, сестрой и братом, — кто, вынеся как сор эти впечатления за дверь, сказал, что больше их значит хронология Пелопонезской войны»?.. («Сумерек просвещения», стр. 40. Изд. П. Перцева. С.-Петербург. 1899 г.).

Как бы хотелось, чтобы эти золотые слова нашего замечательного мыслителя, все еще ждущего своего полного признания русскими, сохранились бы навсегда в русском сознании, потому что без семьи, без школы не может быть воссоздано великим национальное государство.

Впрочем, определение — «национальное государство», — не тавтология ли? Разве может долго существовать независимым не национальное государство? Даже коммунисты в России вынуждены были заговорить о родине.

О былой благополучной Сибири

До великого исторического обвала Сибирь не столько считалась, сколько называлась, в досужих разговорах, «штрафной колонией». К началу двадцатого столетия Сибирь, в своем прогрессе, делала большие шаги вперед.

Я закрываю глаза и перед моим мысленным взором, одна за другой, проносятся картины той Сибири, в которой я провел детство и юность, и по которой путешествовал на протяжении пятнадцати лет, с 1900 года по начало европейской войны, всеми способами и по многим трактам.

Омск 1904 года. Переполненный, клюнем кипящий, Люблинский проспект; по случаю войны с Японией всюду встречаются офицеры, юнкера, кадеты, крохотные воспитанники Казачьего подготовительного пансиона, с красными погонами и золотыми пуговицами на черных мундирах.

Едут в пролетках важные генералы, солдаты им становятся во фронт. В кондитерских вкусно пахнет ароматным кофе и сдобными булочками, щедро усыпанными сахарной пудрой. Несмотря на войну, какая-то выставка, да, вспоминаю, сельскохозяйственная, расположилась на берегу Оми, и там гремит военный оркестр.

Но самое притягательное — это, конечно, пристани, у которых, изо дня в день, стоят на причалах красавцы пароходы: страна самого полного промышленного прогресса могла бы гордиться теми пароходами, одноэтажными, а потом и двухэтажными, в последние перед 1917 годы не только пароходы, но даже теплоходы, которые поддерживали регулярное почтовое и пассажирское сообщение по рекам Иртышу, Оби, Тоболу и Туре, от Семипалатинска до Тюмени.

Эти пароходы были красиво оборудованы и комфортабельно обставлены, нам они казались тогда большими, на них почти всегда была вежливая прислуга, мужская и женская, каюты были просторны, с отдельными умывальниками,

с бархатными диванами, в парусиновых чехлах, тридцать лет тому назад на всех этих пассажирских и даже почти на всех товарных или, как их называли «буксирных» пароходах, горело уже электричество, были уютны, со своей кожаной мебелью, салоны-гостиные и были просторные столовые, широкие палубы отведены были для прогулок и вообще всяческий для путешествующих был введен комфорт и предусмотрены все удовольствия.

Путешествовать на этих пароходах было, конечно, большим развлечением. Вы как то сразу чувствовали себя перенесенным из провинциального, привычного затишья в мир движения, аккуратности, техники и прогресса: все металлические части надраены, пахнет свежей масляной краской, внутри лак и бархат, ковры, аромат дорогих сигар, от дам пахнет духами, когда засидится в столовой после ужина компания, появляется кофе, целый на подносе ассортимент ликеров, — даже детскими глазами, ни в чем этом не участвуя, я вбирал эти картины всеобщего удобства и явного благополучия, с отменным удовольствием.

Мы, наша семья, мать и брат (отец был вечно занят службой), почти каждое лето странствовали на этих пароходах-гостиницах, кушали вдосталь, все, что хотели заказать, вплоть до соблазнительных и традиционных пирожков по воскресеньям, дышали свежим воздухом речных сибирских просторов, ходили гулять, в лес или по деревням, на долгих остановках, когда пароход брал дрова и так поправлялись здоровьем за перегон от Омска до Тобольска или Тюмени, что не нуждались ни в каких курортах.

Конечно, за зеркальными окнами и бархатными занавесями рубки первого класса и при свете желтых, тогда калильно-угольных электрических ламп-пионов, жизнь представлялась нам иной, чем в деревенских избах. Там была бедность, злоба, водка. Но и сейчас, конечно, там, в этих сибирских деревнях и дальних селах, в каком-нибудь, Богом

забытом, городке Ишиме все остается по старому, несмотря на ленинские уголки, колхоз, громкоговоритель и передвижной кинематограф.

Мы на видели самого дна, подлинной изнанки жизни сибирских крестьян, но то, что мы видели, было пестрым и отнюдь не мрачным по своим отражениям: потому, что на ряду с образами и примерами (так мастерски выписанными Ив. А. Буниным в его «Деревне») злобы, тьмы, грязи, болезней, бедности мы видели и веселых, довольных парней, и девок с румяными щеками, готовых всегда расхохотаться, степенных мужиков, всем казалось довольных баб, деревня на нас, барчуков, не только хмурилась, в особенности серыми, осенними, дождливыми днями, но и улыбалась нам, веселила нас, тянула к себе и умиляла.

В своих странствованиях по Сибири, пароходами, в вагонах третьего класса, в кибитках, на телегах, двуколках и даже на возах, я никогда не испытывал какого-либо особенного отчуждения от мужика, не чувствовал на себе его злобных взглядов, не боялся крестьян и не сторонился. А, теперь, с моим опытом вселенских скитаний, наблюдая, как живут здесь хотя бы, миллионы китайцев, как скромно, по своей одежке протягивают у себя на родине ножки японцы, и как, не стыдясь и не смущаясь, все это свое они показывают чужим, ничего перед иностранцами не прихорашивая, не меняя, я должен сказать, что жили мы в Сибири жизнью нормальной, здоровой, приятной, благополучной, в довольстве, в потоке своих собственных больших и малых радостей, и ничуть не чувствовали, что мы находимся в «штрафной колонии», как любили выражаться либеральничавшие публицисты в Санкт-Петербурге или в университетском Томске.

После Омска приятно вспомнить Тюмень, ее Царскую улицу, отличный магазин Агафуровых, богатые дома Колмогоровых, коммерческое собрание, сад при нем, с акациями в цвету, с буфетом и открытой сценой для дивертисментных

выступлений, некоего купца, с лицом столь откровенно монгольским, что, сразу после русско-японской войны, его называли Ояма, страстного картежника и вообще игрока. Тут, тоже в те времена (1905–7 гг.), одна кондитерская на Царской улице состязалась с другой по части выпечки удивительных трубочек с взбитыми сливками, разнообразнейших сортов пирожных, тортов, струделей, кексов, а шоколад мог конкурировать даже с самим Жорж Борманом. О купеческой, времен Островского, Тюмени писала, испуганно и сентиментально, некая писательница Лухманова, но когда я там проводил свое детство, эти рассказы об ужасах купеческих застенков и домостроевом быте будто бы существовавших в середине прошлого просвещенного XIX века, казались уже порождением истерической фантазии.

В Тюмени для нас, молодежи и ребят, была река с купальнями, были отличные окрестности, зимой был обширный каток, своего рода клуб молодежи, с теплушкой, был, наконец, театр и устраивались танцевальные вечера в офицерском собрании. Театр, имея прекрасную, для крохотного провинциального городка, труппу профессионалов, менявшуюся с каждым сезоном. Здесь я впервые видел не только «Ревизора» и «Горе от ума», но и надуманные, претенциозные «Черные вороны», дешевую сатиру на культ, создавшийся вокруг имени от Иоанна Кронштадтского. Здесь же я, совсем мальчишкой, прочитал, взяв в библиотеке, рассказ Л. Андреева «В тумане», трактовавший проблему пола.

Хорошо жили в Тюмени не только купцы, в окружении вековых сундуков и за высокими тесовыми воротами своих городских домов-усадеб, но и служилый чиновничий люд, получавший, в сущности, гроши, но, при дешевизне жизни, сводивший концы с концами.

Всю жизнь, например, помню, живо и свежо, как ездили мы в 1907 году в деревню, к сослуживцу отца, за семьдесят верст на масленице, на блины. Ели пышные, ароматные,

и нежные блины со всеми легко доступными в Сибири деликатесами и с такой зернистой, мастерского засола, икрою, не только осетровой, но и щучьей, что здесь, за границей, вспоминая почти через тридцать лет, чувствую, как сводятся челюсти, сокрушаясь по былым вкусовым эмоциям.

Возвращались мы после этой поездки обратно, в город, погожим воскресным солнечным зимним днем. Небо было высоким и, несмотря на солнце, покрытым частыми перистыми облаками, по просторам полей с дальними перелесками шла от ветра золотистая пороша. И так было бодро на душе, так радостно, так приятно: и от блинов, и от ночи, проведенной в кабинете хозяина, где мы, все мужчины и дети, спали на полу, на матрасах, положенных поверх шкур медведей, и от того, что со мною в возке сидели и папа, и мама, и так тепло и удобно было сидеть на морозце в серой, подбитой мехом, форменной шинели, у родных колен, и радостно будоражило сознание, что завтра будет Великий Пост и опять реальное училище, классы, приятели, вся жизнь, такая полнозвучная и полноценная, казавшаяся воплощенным счастьем.

Эти ощущения крепкого, ароматного быта не надо смешивать с переживаниями 1905 года, первой революции, которая, впрочем, в Сибири была изжита все-таки скорее, чем в Европейской России.

Тобольск 1908–1910 гг. Вместо реального, опять гимназия. Четвертый класс, где я впервые встретился с латынью, догоняя товарищей, пятый класс и шестой, не до конца; кончать его пришлось в Иркутске.

Средняя школа в Сибири по личному опыту: Омская гимназия, Екатеринбургская, Тюменское Александровское реальное училище, Тобольская гимназия и Иркутская. Достаточное поле для наблюдений!

Здания все были просторны, а иногда и величественно красивы. Высокие коридоры, большие классы, прекрасные

актовые залы, все директора, как правило, осанисты и сановиты, особенно П. И. Словцов, сейчас не припомню в чем, по своему прошлому, связанный с великим химиком нашим Менделеевым, который, как известно, окончил ту же самую Тобольскую гимназию, где, в актовом зале, висел, рядом с царскими портретами, его большой с надписью портрет.

Жизнь шла для нас не только в классах, но и вне гимназии. В Тобольске был «круг», точнее четырехугольник из улиц, по которому, под вечер и в особенности по воскресеньям и праздникам, шло усиленное гуляние учащейся молодежи и городского ремесленничества и мещанства. Был превосходный сад там, на горе, наверху, у памятника Ермаку, где столько было потеряно и обретено юношеских трепещущих сердец. В 1908 г. в Тобольске, из под полы, урывками, я читал в толстом журнале «Современный Мир» (?) Арцыбашевского «Санина».

В Тобольске было общественное собрание, ампирного стиля, которое славилось тем, что его строили декабристы, был хороший и любовно содержавшийся, музей Российского Императорского Географического общества, были окрестности, которым мог бы позавидовать любой самый большой город в России, да и вообще где угодно, — Ивановский монастырь, Абалакский и др., эти горы, запорошенные снегом, кедры, ели, пихты, сосны в уборе зимы. Река, нет, две реки, потому что как раз под Тобольском Иртыш сливается с Тоболом.

В городе были: отличная городская больница и, при ней, персонал опытных врачей, были бани, выстроенные трудами и рвением городского головы Трусова, слух о которых шел по всей Сибири, электрическое освещение, телефонная сеть, водопровод, и была та самая деревянная на улицах мостовая, которая произвела на последнего Государя столь сильное впечатление, в бытность его, Наследником, в Тобольске, что

он, потом, неизменно каждого тобольского губернатора расспрашивая на аудиенции об этой деревянной мостовой.

Наезжали в Тобольск столичные знаменитости, тенор А. М. Лабинский, тоболяк родом, со своей неподражаемой «Тишиной», Н. В. Плевицкая, странный композитор Н. В. Гартевельд, специализировавшийся на записи песен нашей каторги. Публика этого далекого губернского центра ходила в театр, посещала заезжий цирк с чемпионатом борьбы, ходила друг к другу в гости, играли в винт, вист и преферанс, обильно, вкусно и длительно ужинали около полуночи, конечно, злословили, иногда ругались, интриговали в местных масштабах, и, вместе с тем, как-то ладно и споро жили, дело делали, в царские дни наполняли мундирами и долгополыми сюртуками собор, воспитывали детей, учили их уму разуму, торговали; житие, словом, было безболезненный, непостыдным, мирным и за что всем этим скромным и симпатичным обывателям, которые были не лучше, но, конечно, и не хуже скромных и симпатичных обывателей французских или британских, выпала на долю кровавая пытка гражданской войны и несказуемо жестоких экспериментов нашей революции — один Бог знает! Так уж, видно, на роду было писано этому поколению.

Тобольский обыватель проявил много сдержанного благородства и трогательного сочувствия к Царской семье, когда, по распоряжению бескрылого и затурканного Временного Правительства, Государь, Царица и дети оказались пленниками того самого губернаторского дома на Большой Пятницкой улице, в котором пишущий эти строки не раз запросто бывал на детских приемах, питая тайную влюбленность к одной из младших дочерей губернатора Д. Ф. фон Гагмана — Сонечке.

Даже если вспомнить о Таре, самом маленьком из городов, в которых когда либо мне доводилось жить, и где прошло мое самое раннее детство, с 1897 по 1904 год, то и этот город, отстоявший от губернского центра в семистах верстах

и от Омска, ближайшего пункта железной дороги, в 250, жил совсем не варварской, а, наоборот, тихой, мирной и приятной жизнью.

Среди очень немногочисленного чиновничества были, встречались иногда, люди большой культуры и пикники в Загородную рощу, выезды на встречу пароходам, поужинать, званые обеды в нашем доме, любительские спектакли, все это вспоминается сквозь дремучий лес истекших многих лет, как лишнее доказательство того, что, несмотря на то, что чиновничий Санкт-Петербург Сибирь и не особенно жаловал, она, сама по себе, к началу нашего века, стала жить жизнью богатого, быстро насаждавшего цивилизацию, края, перед которым открывалось самое заманчивое будущее.

Пусть меня заподозрят в сознательном преувеличении, но мне все таки хочется сказать, что, если бы в 1914 году не случилось европейской войны и не было бы в 1917 году нашей Революции, к нашим сегодняшним дням Сибирь была бы оборудовала технически лучше многих районов России, а, в индустриальной отношении, она могла бы успешно соперничать на мировых рынках и с Японией и с Канадой.

Первая революция

I

Если те мои соотечественники, которым подошел четвертый десяток или перевалило за него, оглянутся назад и станут в своей памяти перебирать образы тех, кто были в школе их учителями, я имею в виду среднюю школу, они, наверное, придут к выводу, что большинство из наставников было в тайной или даже явной оппозиции существовавшему тогда строю. Строй тот погиб и, в некотором отношении, заслуживал должно быть, что так многих имел он настроенными против себя из среды рядовых, обыкновенных русских людей. Но только в «некотором отношении», потому что, надо сделать поправку на характер русского человека, в особенности интеллигентного русского человека, в особенности до 1917 г.: интеллигент всегда чувствовал прежде некоторое неудовлетворение, а иногда был даже без особенных к тому, по крайней мере, внешних, причин «всеми недоволен».

Сейчас меня не интересует вопрос о политической неудовлетворенности среднего русского интеллигента до революции, об этом так много говорится и пишется. Сейчас я говорю о житейской неудовлетворенности, об оппозиции к тем условиям, которыми средний русский интеллигент и, в частности, преподаватель наших бывших школ, наставник и руководитель наших сверстников, был окружен. Стало ходячим утверждение, что наша школа учила, но не воспитывала. Но это не так или не совсем так. Большинство учителей только учили и это почти всегда были те, кого я хочу классифицировать под рубрикой «недовольные элементы». Но были такие, хоть один на гимназию, которые не только учили, но и воспитывали. Память о них остается свежей и благодарной на всю жизнь. Именно через них первое веяние подлинной культуры проникало в сознание и сердце наше.

Но тут возникает вопрос, что понимать под словом «культура», как определить настоящую культуру, как отделить ее от не настоящей? Прекрасное определение дает В. В. Розанов, в одной из своих ранних книг, опубликованных еще в прошлом столетии:

«Культура есть все, в чем завит, скрыт какой-нибудь культ. Поэтому первобытный, элементарный человек есть не только тот кто, озирая мир новыми и изумленными глазами, ничего не различает в нем и одинаково дивится солнцу и пылающему вдали костру, но и тот, кто всему перестав изумляться, ко всему охладев, так же, так и дикарь только ощущает свои потребности и удовлетворяет им. Но тотчас, как человек отступает от этой первобытной элементарности, и чем далее он отступает, он становится культурен. В чем же выражается это отступление?

«В том, что противоположно элементарности, — в сложности. В понятии культа содержится внутренний, духовный смысл культуры; в понятии «сложности» содержится ее внешнее проявление. Культурен тот, кто не только носит в себе какой-нибудь культ, но кто и сложен, т. е. не прост, не однообразен в идеях своих, в чувствах, стремлениях, — наконец, в навыках и всем складе жизни. Понятие сложности настолько ясно, что не требует каких либо для себя разъяснений: напротив, более внутреннее понятие культа нуждается в таком объяснении.

«Культ есть внутреннее и особенное внимание к чему-нибудь, — предпочтение некоторого всему остальному. Дикарь, о котором сказали мы, что он на всю природу смотрит равно изумленным или, наоборот, равно охладевшим взглядом, — не имеет ни к чему в ней особенного предпочтения, ни к чему он не привязан, ничего горячее не любит. По отношению к внутреннему существу его все предметы большие и малые, ценные и незначительные, равно удалены, т. е. для

него нет, собственно, ничего ценного, и в этом именно заключается сущность его безкультурности.

«Культура начинается там, где начинается любовь, где возникает привязанность, где взгляд человека, неопределенно блуждавший повсюду, на чем-нибудь останавливается и уже не ищет отойти от него. Тотчас, как произошло это, является и внешнее выражение культуры, сложность: новые и особые чувства отличаются от прежних, обыкновенных. Они выделяются, образуют свежую и особенную ветвь в духовном существе человека, рост которой обыкновенно сосредотачивает в себе все его дальнейшее развитие, требует всех его сил.

«Предметом культа может быть все, в меру духовных даров того, в ком культ. Им может быть земля, с любовью и вниманием возделываемая, когда человек смотрит на нее как на «кормилицу» свою, детей своих, своих предков; когда бесплодие ее он считает себе «наказанием Божиим»; и, напротив, человек дик, безкультурен относительно земли, когда поступает с ней как хищник, ворующий ее дары и с ними убегающий на другое поле, чтобы также обокрасть и его, обесплодить и бросить. Предметом такого же различного отношения может быть домашний кров — или гнездо, где человек вырос, где схоронены ему близкие, которое он увьет, сбережет своим детям; или помещение, где он находится до приискания другого, удобнейшего. Свой край, наконец, родина, суть более обширные, но однородные с этими предметы культа особой любви».

За последние два года в гимназии, в Иркутске, мне посчастливилось попасть под духовное воздействие учителя, которому были близки и дороги те самые идеи, которые В. В. Розанов намечая еще в девяностых годах материалистического прошлого века. Розанов оставался, как и другие, мыслившие в том же направлении, непризнанным пророком в своем отечестве. Я говорю об учителе классической гимназии Л. Г. Михалковиче, о котором потом дошел до меня слух, что он, в годы революции, стал преподавателем Иркутского

университета, а, затем, преждевременно скончался, пережив, конечно, страшную внутреннюю трагедию. До революции он был чужд руководящим идеологическим направлениям, господствовавшим среди русских интеллигентов;

Среднее образование он получил в семинарии, высшее в историко-филологическом институте. Был учеником и страстным поклонником проф. Ф. Ф. Зелинского, преклонялся перед поэзией Владимира Соловьева, увлекался Иннокентием Анненским («Кипарисовый ларец»), читал «Столп и утверждение истины», журнал «София», выписывал «Аполлон», а, до того, «Золотое Руно», но не был ни декадентом, ни символистом, ни акмеистом, был, прежде всего и всего больше, русским православным человеком, националистом без всяких иных прилагательных, хорошим педагогом, внимательным, снисходительным, чутким, отзывчивым, скромным, в личной жизни несчастным — кажется жена его оставила, жил он, насколько припоминаю, с сыном, мальчиком лет девяти и с мамашей, женщиной простой и уже старой, вдовою не то священника, не то дьякона.

С этим «человеком в футляре» — футляр в виде форменного сюртука с петличками на воротнике, он носил неизменно, — я встречался довольно часто, в частном порядке. Раз в неделю я уж обязательно бывал у него вечером на квартире, иногда мы с ним гуляли по главной улице или в сквере, на берегу Ангары. Гуляли с ним и другие гимназисты. Одно время по весне, он, кажется, был томительно и свято влюблен в милую, хорошенькую барышню лет 18-ти, дочь или племянницу другого нашего преподавателя словесности, за которой ухаживали и с которой «по праву» гуляли гимназисты старших классов. За доброту и снисходительность некоторые из непокорных, не всегда считались с педагогическим авторитетом Л. Г. Михалковича и, конечно, по складу своего ума и характера, он скорее подходил к профессии университетского преподавателя.

Он любил мне читать вслух отрывки из «Трех разговоров» и помнил наизусть почти весь «Кипарисовый ларец», у него были, конечно, все издания В. В. Розанова тогда, в широких кругах интеллигенции, непризнававшегося и даже подчас травимого (Иудушка, «нововременец»), вообще он жил в той сфере мыслей о России и русском человеке, которую, кроме перечисленных, определяют имена Константина Леонтьева, Достоевского, Булгакова, Бердяева. Течение мысли, ставшее властителем дум русского Зарубежья, но почти гонимое на верхах руководящей российской мысли до 1917 года.

Я очень счастлив, что судьба дала мне возможность приобщиться к источнику именно этой простой и животворящей русской мысли, для которой понятия родина и церковь были не отвлеченными символами, но живыми, близкими, милыми синонимами России, которую все мы тогда имели и которой многие из нас не только не дорожили, но и неглижировали. Но не будем корить их строго, — столькие поплатились за грех свой такими страданиями, такими муками, что, конечно, сумели искупить его. И будем помнить слова того же Розанова: «в речи, в словах, русский человек гораздо хуже, чем он есть в сердце, в уме своем; и даже нередко он циник в словах только потому, что боится обнаружить свой внутренний идеализм. Пустым, бессодержательным, — а только такой человек может быть в самом ядре своем безрелигиозен — русский народ никогда не был и не будет даже в ветвях своих, каковою является так называемое «образованнее общество», («Сумерки просвещения» СПБ. 1899, стр. 42).

С Михалковичем мы иногда, в буквальном смысле слова, просиживали ночи напролет, до самого рассвета, особенно весною, читали, говорили, иногда спорили, а то могли залюбоваться какой-нибудь картиною в журнале или долго и молча смотреть, не отрываясь, на рукописи Пушкина, изданные князем Олегом Константиновичем, с точнейшим воспроизведением оригиналов: бумага с теми же водяными

знаками, почерк «в натуральную величину», полная иллюзия, что у вас в руках лист, к которому некогда прикасалась гениальная рука. Эти разговоры, настроения собеседников, чаяния и устремления юноши и его доброго наставника, были в разрез со всеми разговорами, которые слышались тогда повсюду «от финских хладных скал до пламенной Колхиды». Эти разговоры и настроения были тогда вызывающе «против течения». Но как я благодарен им теперь и от скольких роковых ошибок они потом уберегали, когда закружилась революция и потекли серые будни эмиграции, растянувшиеся на годы.

Михалкович в Иркутске был продолжателем прекрасной традиции русской педагогической мысли не довольствоваться только школьным общением с учащимися. Пишущий эти строки за девять лет собственной работы преподавателем в средних школах оставался неизменно верным этой традиции, увековеченной у нас в педагогической литературе еще С. А. Рачинским, который писал:

«Сохраняю постоянные сношения с бывшими учениками моей школы. Они гостят в ней подолгу на Святках, проводят со мною целые дни перед праздниками. Имею случай много читать с ними, много говорить с ними о том, что они читают. Что же делать, если вся наша поддельная народная литература претит нам, и мы должны обращаться к литературе настоящей, неподдельной. Если при этом оказывается, что Некрасов и Островский им в горло не лезут, а следят они с замиранием сердца за терзаниями Брута, за гибелью Кориолана. Если Мильтоновский сатана им понятнее Павла Ивановича Чичикова («Потерянного рая» я не думал заводить, они сами притащили его в школу). Если «Записки Охотника» — этот перл гоголевского периода по прозрачной красоте формы принадлежащий пушкинскому, оставляет их равнодушными а «Ундина» Жуковского с первых стихов овладевает ими. Если им легче проникнуть с Гомером в греческий

Олимп, чем с Гоголем в быт петербургских чиновников... Но ничто не может сравниться с тем обаянием, которое производят творения Пушкина, начиная с его сказок и кончая «Борисом Годуновым». Когда я еще не приступал к занятиям в школе, я думал, что знаю Пушкина и умею его ценить, — я ошибался. Узнал я его только теперь. Этот светлый, реальный мир, который меня окружает, мир бодрой веры и трезвого смирения, мир духовной жажды и здравого смысла — этот мир столь новый, и как будто давно знакомый — это его мир, с раннего детства пленивший и манивший нас. Он его певец, он его пророк... («Сельская школа» стр., 52–53).

II

Нет ничего наивнее утверждения, что революция 1917 г. началась бабьим бунтом у продовольственных лавок и, что война 1914–1918 гг. есть главная и единственная причина гибели императорской России. Война ускорила крушение империи, бесконечно углубила это крушение, и, вместе с тем, сделала очень легким переход от абсолютизма к анархии, которая потом приняла формы советского, большевистского строя, но революция, как все таки всем нам известно, готовилась давно и трон подтачивался десятками лет.

Все принимали то или иное участие в этом процессе, поскольку каждый наивно верил, что дальше будет и должно быть лучше, чем теперь, поскольку большинство из нас и по сей день убеждены, что бывают идеальные режимы, что стоит объявить идеальный государственный порядок, написать красивую конституцию как все сразу образуется, настает благорастворение воздухов и изобилие плодов земных. Наша школа, даже средняя, принимала участие в этой подготовке государственного взрыва. Событие 9 января 1905 г. застало меня в первом классе гимназии, в Омске. Я жил «на хлебах» у начальника отделения казенной палаты, у которого было два сына и собственный чудесный, барский дом у Загородной

рощи. Дети занимались спортом, старший мальчик, который тогда был в пятом классе, мастерил узенькие, обтянутые просмоленной парусиной, лодки, «гички», на которых носился один под парусом в весенний разлив по Иртышу, младший мальчик, не по летам дородный, рано возмужавший, ходил на охоту и бегал на лыжах. Из таких бы ребят, где-нибудь в Канаде, сделали бы замечательных людей: крепких, мужественных, закаленных, слуг и защитников отечества. Но родителям в данном случае было не до того. Они занимались революцией, вернее ее подготовкой.

Г. Пищиков уже имел в прошлом осложнения с администрацией и, к тому же, не хотел лишаться казенного места, поэтому держался осторожно и умело отмалчивался. Его супруга, очень умная и образованная женщина, выражала свои чувства более смело. Как сейчас помню, я читал в это время «Записки Пикквикского Клуба» и издавал, в единственном экземпляре, рукописный журнал: «Жизнь Земли», в котором уделял много внимания войне с Японией. Детски естественное, патриотическое настроение журнала не вызывало особенного восторга у моих хозяев и надо мной старшие подшучивали, что де вот, мол, патриот когда умываюсь по утрам в ванной и то пою «Боже, царя храни». И вот, сижу я погожим ярко-солнечным январским днем, поправляясь после скарлатины и потому еще не посещая гимназии, на полу в комнате Евелины Михайловны и занимаюсь тем, что навожу лупу на щепоточку курительного табака, пока он не задымит сладковато волнующим турецким ароматом и, как раз в этот момент, приходит, помню, петербургская почта с описанием демонстрации перед Зимним Дворцом. Я не буду припоминать, что тогда вокруг меня говорилось, все равно не припомню, но я ясно помню, как нам в детскую был передан портрет священника

Гапона и как, вообще, много тогда было повсюду этих открыточных портретов. А потом, помню, после 9 января, как

у нас, у Пищиковых, собирались — на таинственные ужины, не для карт, как бывало у отца дома, в Таре, а для негромких, деловых, каких-то очень важных и, вместе, таинственных разговоров и как на этих совещаниях присутствовал (нам в детской это стало известно) Букейханов, ученый лесовод и лидер не то киргиз, не то татар, впоследствии левый член первой Государственной Думы, принимавший большое участие и в событиях 1917 года.

Осень 1905 г. застает меня в Екатеринбурге, гимназистом второго класса, и хотя меня родители в середине октября переводят в Тюмень, я еще помню из екатеринбургских мимолетных впечатлений некое подобие бунта младшеклассников и сухую фигуру директора со странной фамилией Яненц, который твердо и решительно боролся с нараставшей даже в среде малышей волной революционных бунтарских чувств.

В Тюмени, в Александровском реальном училище, революционные страсти пылали открыто. У нас был урок арифметики, учитель сделал письменную, я знал наперед, что задачи, наверное, не решу, и в глубине сознания, прислушиваясь к гулу сходки в четвертом классе, думал, что если урок сорвут, то, как никак, буду спасен от двойки, но когда коридор загудел, затопали ноги идущих и бегущих и когда распахнулась дверь и в ней показались четвероклассники и какой-то шестиклассник заявил учителю, что урок должен быть прекращен, т. к. «постановлено объявить стачку», я встал с первой парты и протестовал против насилия (право, не затем, чтоб выслужиться). Меня органически с детства всегда угнетала стадность. Почему, какие-то таинственные «они», статочный комитет, революционеры, таинственные силы где-то там, в подполье, совсем нам чужие и неведомые, могут выносить решения и мы должны им подчиняться, вливаться в эту стихию, которая неизвестно куда унесет.

На мой протест, конечно, старшие не обратили внимания. Педагог протестовал не очень сильно и мы, гурьбой, повалили

по лестнице, вниз, «бастовать» и меня стал, вдруг, самого подмывать этот напор чувства «освобождения» и когда я, в общем потоке, который базлал: «Вихри враждебные», спускался по лестнице и видел монолитную, маленькую, плотную, наполеоновскую фигуру в вицмундире, инспектора Л. Д. Дирдовскаго, которого вдруг можно оказалось не бояться, я почувствовал, и до сих пор помню это пьянящее ощущение в груди, которое во все революции заставляло уличные толпы бесноваться от кружащей голову и сердце радости. Мы бастовали. Бастовали почти всю зиму. Позанимаемся, позанимаемся, и опять нас снимают с занятий «в революционном порядке». Через год, под воздействием кузины, революционерки из 4-го класса гимназии, я что то уже сам печатал, тайком, рано-рано по утру на гектографе и, приходя в гимназию раньше всех, с сердцем, ушедшим в пятки, что буду накрыт, сам разложил как то свои прокламации по пустым партам третьего класса, пока не был пойман отцом вместе с гектографом и соответствующе наказан. Родители наши, кроме моих и еще немногих, вели переговоры с начальством реального училища. С каждой неделей их требования к «начальству» становились все более решительными и радикальными. Отцу моему эта игра в революцию вокруг реального училища страшно надоела и когда я опять как-то пришел из училища утром, не успев туда уйти, и на его вопрос ответил, что мы «опять забастовали», он мне не поверил, быстро оделся, схватил меня за руку, потащил в училище, но когда мы подошли к внушительному подъезду, то увидали объявление за подписью кого-то, директора или инспектора, что занятия действительно прекращены. С приходом в Тюмень, из Маньчжурии, одного или двух полков, местная провинциальная революция пошла на убыль, гимназистки стали нам, реалистам, предпочитать поручиков и подпоручиков, из которых многие имели на груди Станислава с мечами и бантом, а когда, в конце 1906 или в начале

1907 г., по нашему коридору прошел в тужурке с красными отворотами новый тобольский губернатор Н. Л. Гондатти, революция в Тюмени окончательно выдохлась: город стал мирно торговать, играть в карты, ездить летом на пикники, ходить в театр, где, правда, шли «Черные вороны», обывателя уверяли, что это об отце Иоанне Кронштадтском, и читать, почему то казавшийся революционный, рассказ Л. Андреева: «В тумане».

Теперь, через тридцать лет вспоминая, как мною, десятилетним, переживалась первая революция, которая, как описано выше, захватила и школу, я должен так поделить отношение педагогов к событиям. Меньшинство, внешне, как и внутренне, были против революции и, по долгу службы и внутреннему убеждению, боролись с нею. Каждый знает, сколько директоров и инспекторов наших гимназий и реальных училищ стали тогда жертвами словесных заушений, всяческих обструкций и даже оскорбления действием со стороны, вышедшей из повиновения, молодежи. Большинство же плыло по течению. Внешне сохраняя лояльность строю и законам, они давали понять, что, внутренне, они на стороне тех, кто борется на баррикадах. Так было и в высшей школе. Так было, впрочем, еще в 70-ые, в 80-ые, в 90-ые годы. События 1917–1918 гг. подготовлялись исподволь и настойчиво, яд развала империи расползался по всему ее организму, это был социальный яд недовольства, неудовлетворенности, беспокойных исканий неведомого рая, яд протеста ради протеста, яд неприятия действительности. У Розанова это хорошо описано было в цикле статей «Старое и новое».

«В 70-х и в начале 80-х годов мы все учились несколько иначе, чем учатся теперь. Мы все были теоретиками и мечтателями с ранней школьной скамьи. Средняя школа для нас проносилась, как в тумане, и мы все смотрели, из разных захолустных уголков России, в ту неопределенную даль, где для нас и было только одно — сияние милого, обвеянного мечтами,

нас ожидавшего университета. Собственно, только эта поэзия ожидания и согревала нас в те ранние года, и ничем учитель не мог так привязать к себе и так заинтересовать в классе, как рассказав что-нибудь о годах своего университетского учения: какие бывают профессора, что они читают, какой они имеют вид, наконец. Мы уже во многом были серьезны, но если в чем были детьми, со всею нескрываемою и нас не смущавшей наивностью, так именно в этом ожидании, в этих усилиях представить людей, занятых только наукой, т. е. изысканием истины, и совершенно непохожих на всех окружающих нас, которые нам наскучили, которых мы часто не любили и не уважали. Помню эти долгие, уединенные прогулки по нагорному берегу Волги, с определением по положению солнца того направления, где был университетский город, и куда вот уже скоро умчит поезд и... тогда начнется совсем, совсем другое. И ничего другого не было... Все было обманом старых литературных воспоминаний и немногих, избранных впечатлений наших школьных учителей. Университет universities omnium litterarum, вся эта «филология» наша, была неправильна. Никак нельзя было представить, из каких требований ума вытекало это распределение наук и в особенности, как можно было преподавать науку, совершенно сбиваясь в ее определениях. Было чтение разных вещей о разных предметах, хрестоматия или сборник практически полезных сведений, но не было науки в смысле теории, своими широкими рамами покрывающей естественные потребности естественно же развивающегося ума. Даже и идеи о возможности и необходимости такого теоретизма нигде не было. Самые предметы наук как то странно никого не интересовали; интересовали книжки, написанные об этих предметах, репутация широкой в них начитанности. В идее — огромное множество островов, ни к чему не примыкающих, в действительности просто рассказы об островах, которые давно скрылись под поверхностью воды. А мы ждали материка. О, как удовлетворил бы

нас Фома Аквинский, хотя между нами многие пришли сюда атеистами, или Бодэн, Гоббз, Жозэф де Мэстр, хотя мы вовсе не были «легитимисты». Но мы ждали складности; и кто бы нам ее ни дал — мы бы за ним пошли».

Глубоко и веще прав был Розанов когда писал эти строки в конце девяностых годов прошлого века. От себя добавим, что русской интеллигенции вместо складности национальной идеи дали складность исторического материализма и нет ничего удивительного в том, что, несмотря на Чаадаева, Пушкина, Леонтьева, Достоевского, Россия пошла за Карлом Марксом. Была в этом, кроме умственной, и психологическая подготовка. На верхах мысли, хама было не меньше, чем в низах. У Розанова это тонко и мастерски отмечено, хотя он сам вряд ли сознавал провиденциальность зарисованных им давным-давно образов, для будущих судеб России. Нелюбовь мысли ради мысли, неверие в мысль, недружелюбие к Мыслящим инако, духовный нигилизм, душевная нечуткость, чувство нетерпимости к «противнику», в общем своему же брату, отсутствие элементарного доброжелательства все это были недостатки, с которыми семья и школа должны были бороться, но не боролись или не умели, не знали как к этой борьбе приступить. Розанов говорит:

«Тогда в журналах все писали о «кружке молодых профессоров» в нашем университете; о стариках никто не писал и не говорил — только они сами издавали один ученый труд за другим, и до этого никому не было, по-видимому, дела. Работали в пустыне. Молодые же профессора, за исключением двух-трех, все были какие-то розовые или упитанные, и чрезвычайно уморительные в своих усилиях показаться «страшными». Наивны они были очень: об одном рассказывали в университете, что он все укладывал в чемодан белье, говоря, что его скоро «вышлют», — конечно, выслать его было решительно не за что, и он до сих пор строчит свою бесталанную макулатуру во многих наших «передовых» изданиях.

Этот профессор, охотнее возившийся с чемоданом, чем с книгами, понимая, что это не может не отражаться на лекциях, достаточно темно и достаточно ясно намекал на некоторую бедность развития, при всей эрудиции, у его старшего коллеги по факультету, который издавал тогда свои капитальные работы по финансовому праву.

«Эпиграфы к сочинениям обыкновенно брались тоже из какого-нибудь «страшного» философа. «Не плакать, не смеяться, но понимать. Spinosa, — помню, стояло на брошюре из веленевой бумаги у одного профессора, хотя из трех указанных проявлений человеческой натуры известно было всем, что он любит только второе. Все это было наивно, все было порой невыносимо, большое русло студентов, как и всякой большей массы, становилось все более и более тем, чего от них ожидали. — «Я не хочу пить за студентов», — сказал один старый, ныне покойный, профессор, когда 12 января ему предложили поднять бокал «за молодежь». Об этом рассказывали потом, и я не забуду с каким уважением начали смотреть на него после этого случая очень многие из студентов. Раскол уже тогда и там начинался. Как теперь помню, этого безукоризненного ученого на одном диспуте по палеонтологии: красавец — доцент, очень речистый, на возражение невзрачного маленького старичка, ему официально оппонировавшего, сказал скромно и торжественно: «но, позвольте, значит, вы не знакомы с последними замечаниями знаменитого венского ученого NN». Старик смутился и, кажется, ничего не мог возразить. Что же, на седьмом десятке лет, быть может, больной, он и вправду не успел еще, может статься, разрезать последних книжек ученых изданий, и, кажется, жалел об этом, считал это стыдным для себя. «Да позвольте», вдруг поднялся рядом со стариком сидевший профессор, и сразу все покрыл своею гигантской фигурою и голосом: «мой достоуважаемый учитель» (и он обратился к смутившемуся старику, о котором я тут только узнал, что это был знаменитый

ученый, сам объехавший всю Россию, еще когда доцентик не появлялся на свет), «мой достоуважаемый учитель говорит вовсе не то, и вы только путаете дело своими ссылками», смял растерявшегося магистранта с его венскими профессорами и в крупных, резких штрихах показал, в чем суть дела и что этой сути дела даже не заметил опрятно одетый диспутант, все только разрезавший новые книжки и в глаза не видавший ни одного геологического разреза и никаких окаменелостей. Старшие профессора, обросшие седою щетиною, были невзрачны, неуклюжи, сгорблены под тяжестью трудов и лет; но в своих потрепанных виц-мундирчиках они были удивительно как внутренне изящны, всегда просты, — это чувствовалось, — возвышены умом и сердцем. Совсем не то было в кружке «молодых профессоров».

III

На забытой полке моей библиотеки я нашел забытую книгу: «Страницы воспоминаний» Константина Леонтьева, издание «Парфенон», через фиту, Санкт-Петербург, 1922 год.

Странный был это год в Санкт-Петербурге, странная эпоха: одновременно с делом Таганцева, о котором, в самом конце 1934 года так обстоятельно вспоминал А. В. Амфитеатров, расстрелом Гумилева, жуткой смертью Ал. Блока, Карсавин писал свой философский памфлет: «Восток, Запад и Русская идея», а издательство «Парфенон» выпускало страницы воспоминаний Константина Леонтьева, столпа реакции.

Редактировал это издание и написал к нему предисловие П. К. Губер. Предисловие также заслуживает быть отмеченным, принимая во внимание обстановку и атмосферу Северной Коммуны, в эпоху военного коммунизма.

«В самом конце 1904 г., — пишет Губер, — я сидел в читальной зале Публичной Библиотеки в Петербурге и с нетерпением новоиспеченного студента занимался каким-то специальным вопросом русской истории. Предмет моих

ученых изысканий казался скучен до нельзя. Помнится, это было что-то, касающееся систем податного обложения в Московском Государстве. После двух часов непрерывного чтения я почувствовал, что долее продолжать не могу. Внимание утомилось; мозг алкал перемены. Я взял одну из бывших у меня под рукою книг, развернул наудачу и стал читать прямо со средины страницы.

«Никогда не забуду впечатления, которое мне пришлось испытать. Это было нечто подобное вспышке яркого света среди серых, унылых сумерек. Не о содержании говорю я здесь. При моей тогдашней подготовке я не мог оценить по достоинству глубоко-своеобразный мир идей, столь неожиданно передо мною открывшийся. Но самый стиль и тон поразили меня. Этот язык, такой яркий, точный, выразительный, так густонасыщенный мыслию, казалось, таил в себе что-то властно подчиняющее молодой, неопытный ум. Едва успев пробежать несколько строк, я торопливо перекинул страницы и взглянул на подпись, потом на заглавие. Статья была подписана К. Леонтьев и называлась: «Византизм и Славянство», — огненный памфлет, по иронии судьбы погребенный в сухом и мертвом академическом издании.

«Имя Леонтьева ничего не сказало мне в первую минуту. Но потом я вспомнил, что за несколько месяцев перед тем мне пришлось читать книгу П. Н. Милюкова: «Из истории русской интеллигенции». Из всей статьи Милюкова у меня осталось в памяти только одно: Леонтьев был консерватор-мракобес, сожалевший, что у нас нет аппарата, который позволял бы осветить внутренность души умеренных либералов, подобно тому, как ученые биологи освещают внутренность щуки, вводя ей в желудок электрическую лампочку. Это казалось курьезом, не больше. Но я уже не верил Милюкову, и решил при первой возможности продолжать знакомство с неведомый мне интересным писателем.

«Трудность состояла в том, что я не имел о нем никаких сведений и даже не знал, как называются другие его сочинения. Заглянуть в Энциклопедический словарь, где напечатана весьма содержательная, хотя и краткая статья Владимира Соловьева, я не догадался. Попробовал спросить в библиотеке «Полное собрание сочинений Константина Леонтьева», но мне ответили, что такого собрания не имеется. Все, к кому я обращался за справками, не исключая университетских профессоров, отговаривались незнанием. Покойный М. А. Дьяконов тоже помнил прозрачную щуку, но и только. Однако, мне повезло. Несколько дней спустя я приобрел у букиниста на Литейном два растрепанные тома сборника: «Восток, Россия и славянство» и нетерпеливо принялся за чтение.

«Нужно только вспомнить, какое это было время: начало 1905 года, «весна» Святополк-Мирского, канун 9-го января. Я состоял на первом курсе, и мне едва исполнилось восемнадцать лет. У меня были все предвзятые мнения, все суеверия и предрассудки интеллигентного юноши той эпохи. Мировоззрение туманное, неопределенное (впрочем, оно мне тогда казалось весьма определенным), слегка восторженное, очень нетерпимое и исключительное, было у меня общим с большинством моих сверстников. Мне все казалось, что не сегодня-завтра должно произойти нечто необыкновенно важное, счастливое, нужное для всего человечества и для меня лично. И это нечто есть революция. Но революцию удерживают железными цепями подлые, злые и, главное, глупые люди, которых зовут черносотенцами и реакционерами. В таком настроении стал я изучать Леонтьева. Разочаровался ли я в нем? О нет, напротив: с жадностью проглотил книгу до самого конца. Но я был возмущен. Такого исступленного, такого черного реакционера я еще не видывал. Вот не угодно ли:

«Субъективного благоденствия и счастья свобода и равенство не дали никому».

«Глупо и стыдно людям, уважающим реализм, верить в такую нереализуемую вещь, как счастье человечества, даже и приблизительное».

«Истинное христианство учит, что какова бы ни была, по личным немощам своим, земная иерархия, она есть отражение небесной».

«Государство обязано всегда быть грозным, иногда жестоким и беспощадным, потому, что общество всегда и везде слишком подвижно, бедно мыслью и слишком страстно».

«Мужик, монах, купец старого духа — вот истинно русские граждане, а не мы»...

«По основному закону нашей Империи, по существенному духу нации нашей, законно и хорошо все то, что исходит от Верховной Власти. Законно было закрепощение; законно и хорошо было разделение народа на сословия; все было хорошо в свое время — и старые, закрытые суды, и телесное наказание... Мы не считаем настоящим русским того, кто не умеет так думать, хотя бы он был и самый честный, и самый полезный в делах своих человек».

«Само собою, разумеется, — пишет в 1922 году в советском Санкт-Петербурге Губер, — что я почувствовал себя оскорбленным в самых драгоценных убеждениях своих. Книгу запер в шкаф, а над автором мысленно поставил крест, решив никогда не возвращаться к нему.

«Но прошло немного времени, и я заметил следующее любопытное обстоятельство: мое отношение к историческим событиям и далекого прошлого, и близкой современности чувствительным образом изменилось. Нельзя сказать, чтобы я заимствовал у Леонтьева какие-либо его взгляды. Леонтьевцем в полном значении слова я не сделался ни тогда, ни впоследствии. Но мне вдруг стали знакомы такие точки зрения, о которых до той поры не имел я никакого понятия.

«Картина общественной жизни, прежде развертывавшаяся передо мною, как бы на плоскости, внезапно обрела глубину и рельеф. Абстрактные категории ожили и облеклись плотью.

«С тех нор я не раз обращался к Леонтьеву, перечитывая его сочинения и в старых книжках «Русского Вестника», и в новом полном собрании, изданном, наконец, в свет под редакцией прот. Фуделя. И постоянно укреплялся в своем первоначальном впечатлении: Леонтьев, так упорно стремившийся быть проповедником и учителем, всего ощутительнее действует не как учитель жизни, а как воспитатель ума. В своей угловатой, непреклонной цельности он похож на алмаз, шлифующий более податливые и мягкие камни, дающий им грани и блеск, которых прежде они не имели».

Не соглашаться нарочито с последними словами Губера вряд ли стоит; писались они под пятою, тогда еще тупой и мстительной, советской цензуры. Но, все-таки, надо подчеркнуть, что нет слов удивлению, что в просвещенном Петербурге, который разбирался в судьбах России лучше, чем другие наши города, который дальше видел, правительство, влиятельные течения, близкие строю, уклонились от своего казалось бы священного долга не только издать (хотя бы на средства казны) собрание сочинений Леонтьева и других сходных с ним национальных мыслителей, но пустить подобные издания в народ, раздавать их в награду учащимся, всячески их популяризировать и почаще на них ссылаться в официальных обращениях и официальных изданиях.

Столько нового придумал и изобрел русский гений: как это, в самом деле, мы не догадались, что уже с конца прошлого века и особенно с 1904 года, власть должна была заняться хоть какой-нибудь активной пропагандой национальных идей, хотя бы в противовес подпольной агитации народовольцев, социалистов и либералов всех мастей. И в этой пропаганде и агитации за сохранение строя, кто, как не Константин Леонтьев, даже из гроба, мог оказать неоценимую услугу.

Увы, К. Леонтьева пытливым умам, даже в столице, надо было, в разгар первой революции, искать на барахолке у букиниста. Боже, как все это было и смешно и трагично!

Я привожу этот отрывок, как прекрасную иллюстрацию настроений молодежи 1904–1905 гг., подтверждающую мои собственные реминисценции.

IV

Мои отношения с последней революцией опять-таки преломляются через школу. На этот раз, высшую. Тут, предварительно, надо отметить, что 1912 и 1913 гг. я с большой пользой для себя провожу за границей: Берлин, Париж, Тулуза. В Париже, на авеню де Гобэлэн, в русском информационной бюро, от секретаря, старой социалистической личности, по фамилии, кажется, Миронов, я впервые услышал, что у нас есть «русский Жорэс». На мой вопрос, кто же это он, г. Миронов мне, не без удивления, ответил, что это Н. Д. Авксентьев. Мне было дано понять, что не мешало бы и мне посетить доклад тов. Авксентьева. Но в Париже для меня, в семнадцать лет, было столько других радостей, что я, каюсь, так и не пошел слушать русского Жорэса.

В Тулузе мы не столько ходили в университет, сколько гуляли по роскошной (после Иркутска она казалась — роскошной) улице Альзас-Лоррэн и в «Жардэн дэ Плянт», тянули кассис, который, как и все ликеры, стоил до войны неприлично дешево, ели под кассис сладкие трубочки с кремом и спорили на политические темы. В Тулузе, в те времена, оказалось несколько человек «витмеровцев». Кто помнит теперь эту историю? Была такая частная гимназия Витмера и случился там какой-то инцидент в выпускном классе, инцидент революционного характера. Министр народного просвещения Л. А. Кассо, одна из одиознейших фигур в глазах радикальных кругов столичного общества, если не ошибаюсь, не допустил молодых бунтарей до экзаменов на аттестат зрело-

сти или воспретил им поступать в высшую школу. Тогда московский богач, филантроп Шахов, в пику правительству и для вящего ублажения общественного мнения, взял всех этих молодых людей на свое иждивение и решил всем им, на свои средства, дать высшее образование заграницей. Часть витмеровцев, шаховских стипендиатов, оказалась в Тулузе.

Ребята эти были, как и все, ничем не выделяясь, но материально, как стипендиаты миллионера, они были обставлены, конечно, лучше меня. Л. А. Кассо, как охранитель основ существовавшего строя, был по своему прав, заподозрив их в неблагонадежности. Я их застал, прямо по приезде их из России, законченными бунтарями, сделавшими из этого себе профессию, как видим не безвыгодную, т. к. без бунта вряд ли на них обратил бы свое внимание московский миллионер Н. А. Шахов. Приди к Шахову такой витмеровец, не пострадай он от Кассо, может быть миллионер не помог бы ему получить и место репетитора, не то, что заграницу его отправить, в университет, с карманными деньгами не то в 75, не то в 100 рублей в месяц. Я жил на 50 целковых, переводившихся отцом из Иркутска. Составляли эти 50 руб. на царский курс 133 франка 30 сантимов и, принимая во внимание, что за комнату свою, довольно просторную, с огромной кроватью под пыльным балдахином, на которой наша русская простыня едва прикрывала середину, и с двумя дверьми-балконами, я платил, на рю Эллио, ном. 24, всего девять франков в месяц без стола, а за обед, в милом, хотя и скромном ресторанчике (три блюда), тринадцать франков; билет в «синима» стоил «пур л-этюдьян» в те времена двадцать пять сантимов — можно было хорошо жить и даже можно было ликеры пить в Тулузе. Один из витмеровцев когда, как-то, летним вечером, мы были «под шафэ», задал мне вопрос: «А вы, товарищ, в какой партии?» Я понял, что по его твердокаменному убеждению я, русский студент за границей, в императорский период России, не могу не быть в той или

иной социалистической партии. Из духа противоречия этому моральному насилию над моей свободой или озорства ради, я ему ответил: «Я — спортсмен...» Он был сильно навеселе, он вообще любил коноводить, он не допускал поэтому умаления своего престижа перед другими, более кроткими. Он выхватил из бокового кармана браунинг и сказал запальчиво: «Я член боевой организации партии социалистов-революционеров и я не допускаю в этом вопросе глупых шуток! Или вы к нам присоединитесь, или я вас уложу на месте...» Но это было уже чересчур. На мальчишку набросились другие мальчишки. Револьвер у него отняли. В трезвом виде он меня ни в партию, ни в боевую организацию не тянул и я, вообще, сомневаюсь, был ли он настоящим эсером, тем более, террористом. Но если к партиям я не примыкал, живая бок о бок с так называемой «царской эмиграцией» в Тулузе, то членский взнос свой в комитет имени Веры Фигнер, в пользу, кажется, политических заключенных, вносил аккуратно. Без этого было нельзя! Без «фонда Веры Фигнер» нельзя было чувствовать себя свободно в русской библиотеке, которая помещалась в задней комнате какого-то мрачно просторного бистро, (тогда это слово было, впрочем, не в ходу у нас), если не изменяет память на Фобур Морсо. После ленских расстрелов я стал даже persona grata, потому что прибыв в Тулузу из Иркутска я знал не только по именам, но и в лицо знал прокурора судебной палаты Е. П. Нимандера, про которого потом говорили, что он был чуть ли не секретарем у Троцкого, знал тов. прокурора Преображенского, а губернатора Ф. А. Бантыша знал особенно хорошо, так как дружил с его сыном Сашей (но эту дружбу приходилось, конечно, тщательно скрывать от моих новых тулузских знакомых из русской библиотеки имени «Лэон Тольстой», где производился сбор на Веру Фигнер, и где собирались русские революционеры разных толков и молодежь из университета, тянувшаяся к своим, хотя бы называли они себя эсерами или

эсдеками). Но о витмеровцах у меня сохранилось определенное впечатление, что не Шахов был прав, а Кассо. Кстати, о Кассо. Старшим поколениям памятно, как его травила наша либеральная печать. Даже смерть его точно нарочно была придумана судьбою для вящего восторга либералов (писали или говорили, что он умер в ванной или еще где-то похуже у француженки или у светской дамы, с которой жил). А, между тем, этот одиозный человек был, говорят, замечательным ученым и в завещании распорядился, чтобы на его могиле не было никаких титулов и званий (он имел и придворный чин), а только просто: «Д-р Кассо». Что же касается до «комитета Веры Фигнер», то тот франк, который я платил ежемесячно ради того, чтобы ладить с теми сородичами, которые тогда представляли русскую колонию Тулузы, то всякий раз; при возвращении в Россию, на пограничной станции Александрово, мне казалось, что жандармы знают, что я встречаюсь в Тулузе с революционерами и даже делаю взнос Вере Фигнер и меня как будто даже неприятно поразило, что жандарм при первом возвращении из Франции в Россию, равнодушно вернул мне паспорт, даже не взглянув на «опасного человека». Я знал, однако, и в Тулузе, что революционная работа идет. Что гг. эмигранты о чем-то часто совещаются. Что-то печатают, что-то нелегально отправляют в Россию. Многие из них жили с семьями впроголодь, но напряженной работы своей не прекращали. Они всегда были заняты, у них у многих не хватало времени научиться хоть как-нибудь объясняться по-французски, живя годами во Франции, но положение дел в России они знали отлично, досконально, за всем напряженно следили, когда обсуждались расстрелы на Лене, я, человек из Иркутска, поражался, как полно, как точно, как «здорово» они были все информированы. А когда мы, иногда, собирались отдохнуть, мы пели, кроме революционных, простые русские песни. Революционные, я всегда терпеть не мог.

Теперь думается, неужели нельзя было использовать как-нибудь и этих людей, совсем не большевиков, использовать их для России, во имя ее национального дела. Неужели ничего нельзя было сделать, чтобы миллионеры Шаховы не считали гражданским долгом своим поддерживать бунтарей?

Розанов это отлично чувствовал. У него, в «Уединенном», есть такие строки. «Конечно, не использовать такую кипучую энергию, как Чернышевского, для государственного строительства — было преступлением, граничащим со злодеянием. К Чернышевскому я всегда прикидывал не те мерки: мыслителя, писателя... даже политика. Тут везде он ничего особенного собою не представляет, а иногда представляет смешное и претенциозное. Не в этом дело: но в том, что с самого Петра (I-го) мы не наблюдаем еще натуры, у которой каждый час бы дышал, каждая минута жила, и каждый шаг обвеян «заботой об отечестве». Все его «иностранные книжки» — были чепуха; реформа «Политической экономии» Милля — кропанье храброго семинариста. Всю эту галиматью ему можно было и следовало простить; и воспользоваться не головой, а крыльями и ногами, которые были вполне удивительны, не в уровень ни с какими; или, точнее, такими «ногами» обладал еще только кипучий, не умевший остановиться Петр. Каким образом, наш вялый, безжизненный, не знающий где найти «энергии» и «работников», государственный механизм не воспользовался этой «паровой машиной» или вернее «электрическим двигателем» — непостижимо. Что такое все Аксаковы, Ю. Самарин, и Хомяков или «знаменитый» Мордвинов против него, как деятеля, т. е. как «возможного деятеля», который зарыт был где-то в снегах Вилюйска. Но тут мы должны пенять и на него: каким образом, чувствуя в груди такой запас энергии, было, в целях прорваться к делу, не расцеловать ручки всем генералам, и вообще целовать «кого угодно в плечико» лишь бы дали помочь народу, подпустили к народу, дали бы

«департамент». Показав хорошую «треххвостку» его коммунальным и социал-демократическом идеям, благословив лично его жить хоть с полусотнею курсисток и даже подавиться самою Цебриковой, — я бы тем не менее, как лицо и *энергию*, поставил его не только во главе министерства, но во главе системы министерств, дав роль Сперанского и «незыблемость» Аракчеева... Такие *лица* рождаются веками, и бросить его в снег и глушь, в ели и болото... это… это... черт знает что такое. Уже читая его *слог* (я читал о Лессинге, т. е. начало) прямо чувствуешь: никогда не устанет, никогда не угомонится; мыслей — чуть-чуть, пожеланий — пук молний. Именно «перуны» в душе. Теперь (переписка с женой и отношения к Добролюбову), все это объяснилось: он был духовный, спиритуалистический «S», ну, — а такие орлы крыльев не складывают, а летят и летят до убоя, до смерти или победы. Не знаю его опытность, да это и *не важно*. В сущности, он был как государственный деятель (общественно-государственный) выше и Сперанского, и кого-либо из «екатерининских орлов», и бравурного Пестеля, и нелепого Бакунина, и тщеславного Герцена. Он был действительно соло. Нелепое положение полного *практического бессилия* выбросило его в литературу, публицистику, философствующие оттенки, и даже в беллетристику: где, не имея никакого *собственного к этому призвания* (тишина, созерцательность), он переломал все стулья, разбил столы, испачкал жилые удобные комнаты, и вообще, совершил «нигилизм» — и ничего иного совершить не мог... Это — Дизраэли, которого так и не допустили бы пойти дальше «романиста», или Бисмарк, которого за дуэли со студентами обрекли бы на всю жизнь драться на рапирах и «запретили куда-нибудь принимать на службу». Черт знает что: рок, судьба, и не столько *его*, сколько *России*.

«Но и *он же*: не сумел «сжать в кулак» своего нигилизма и семинарщины. Для народа. Для бескоровных, безлошадных

мужиков. Поразительно» ведь это прямой путь до Цусимы. Еще поразительнее, что с выходом его в практику — мы не имели бы и теоретического нигилизма. В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли к Древу Жизни: но взяли, да и срубили его... Срубили, «чтобы ободрать на лапти Обломову».

Теперь, в 1935 г., мы можем сказать, что это был не только «прямой путь к Цусиме», но и прямой путь к февралю 1917 года и к ленинскому Октябрю, со всеми вытекающими из «Октября» последствиями.

V

Томский Императорский университет. Факультеты медицинский и юридический. Году в шестнадцатом у нас открываются еще два факультета: историко-филологический и физико-математический, но я не на них обучался. С медицинского меня «увел» на юридический проф. Н. Я. Новомбергский, бывший тогда деканом. Я был товарищем председателя Юридического общества, при председателе декане, и, кроме того, чтобы дать мне заработать, проф. Новомбергский устроил меня преподавателем в Третью женскую гимназию. Преподаватель в 22 года!

Мне, после Европы и столиц, Томский университет показался скромным. Гораздо больше своим внешним видом импонировал Технологический институт, который был расположен выше, на горке, в котором коридоры были огромными, широкими и высокими, а главное, поражали окна — размером, как добрые ворота (такое осталось воспоминание). Нравились чертежные, особенно столы в них, с ярко голубой бумагой, на кнопках, и глянцевитою калькой. Эти электрические лампы со стандартными, деловыми абажурами, что спущены с потолка прямо над склоненной головою студента, а особенно меня радовала возможность бывать в буфете «Техноложки» (этакое гнусное слово, как и прочие,

ему подобные: «анатомка», «столовка», «зубодраловка») — последнее о барышнях с зубоврачебных курсов, почему то всегда хорошеньких, конечно, белозубых, и гораздо кокетливее одевавшихся, чем «наши» курсистки. Я жил в одной комнате у знакомых, с технологом, с товарищем детства и поэтому «имел право» бывать и в Технологическом Институте.

От нашего университета у меня сохраняется отчетливое воспоминание о длиннейшем, действительно необычайно длинном, узком, довольно низком, мрачноватом коридоре и об отдельной, гораздо более новой стройки, здании библиотеки, где все было так культурно, так не по-сибирски строго и чинно, так далеко от типичного студенческого, провинциального быта с его обязательными заседаниями землячеств по убогим квартирам, с вечеринками, на которых доминировала балалайка, с «кафе» (через «е») Фартоцкого», где за дешевку, ели — глотали, с особым причмоком, обжигающие пельмени, и пили водку. При библиотеке был большой и новый зал, в котором мы устраивали диспуты, в котором гремели, потом, в революционные первые месяцы, пылкие речи, и где, далее, заседала в 1918 году Сибирская Областная Дума, тотчас прозванная справа, а потом и с крайнего «лева» — Сиболдумой. В библиотеке, с ее темно-зелеными металлическими полками, с карточной системой, с ее тишиной и солнечностью, я словно преображался, я отдыхал, я был почтительно настроен и благоговел. Но, за пределами ее… Опять вспоминается вещее слово Розанова об университете в Томске, писанное лет за двадцать до эпохи, которую я здесь вспоминаю, но такое пронзительно точное, угадывавшее суть и сущность, провиденциальное.

«Только немногие старые профессора и спасли в нас идеализм к науке. Это были последние эпигоны людей 40-х годов, каких мы видели, которых мы никогда не забудем. «Помоему, где профессор — там и университет», сказал один из них (Буслаев).

«Да, конечно, а не большое кирпичное здание, выстроив которое в Томске и повесив на него вывеску, еще без профессоров, без студентов, все почему-то называли: «Сибирский университет».

«Странные понятия об университете, о святилище наук, где они преподаются, и которое изготовляется печниками на кирпичных заводах. Все извратилось и померкло в наше тусклое, искаженное время. В «университете» университету еще нужно зародиться»; завестись чудакам-профессорам, а всей студенческой братии, слюбиться, сжиться, порасти мхом, кого-нибудь похоронить и справить тризну — и тогда, тогда это будет университет! Удостоиться стать им через почетный труд, через доблестную жизнь, через историю — можно; выстроиться университету — нельзя («Литературные очерки» В. В. Розанова. СПБ. 1899).

Филологический факультет у меня на глазах зарождался в Томске именно этим, предсказанным Розановым, путем. Приехавшим профессорам и доцентам «своих» аудиторий не дали. Они читали в аудиториях юридического и, даже, медицинского факультетов. Специально для филологов была, из под чего-то, «освобождена» мрачная аудитория в нижнем этаже, около «раздевалок». Она была низкой, она была полутемной, в ней сидеть приходилось на партах, но читали в ней с редким подъемом: по психологии С. Л. Гессен (самый талантливый из вновь прибывших) и А. А. Гвоздев о министрелях и трубадурах и комедии del arte. На филологический факультет я ходил с восхищением. Это, подсознательно, была именно моя стихия. И ходил сюда без всяких практических соображений. Как, впрочем, и другие многие. В частности, вольнослушатели. Был даже какой-то среди них профессор Технологического института, который был одет в вицмундир с петличками действительного статского советника, у которого голова была совсем седая и который, с трогательным старанием, записывал философские импровизации молодого,

но уже нацело лысого, напряженного и вдохновенного, внешне маленького, как воробышек, Сергея Иосифовича Гессена.

Я ничего плохого не хочу сказать о юридическом факультете, «моем» собственном и тем менее собираюсь как-либо, хоть словом, критиковать факультет медицинский, завоевавший по праву великую себе славу по Сибири и даже в России европейской. Там, при мне, были такие ученые врачеватели, как Грамматикати или М. Г. Курлов, физиолог проф. Кулябко и многие другие. Но все-таки, «из песни слова не выкинешь», юридический факультет в Томске дал России пресловутого М. А. Рейснера и, кроме Рейснера, на нем было много либеральничавших профессоров и заметно грешил этим мой друг и учитель Н. Я. Новомбергский. Мы даже «бунтик» там небольшой устроили против профессоров Мокринского, Прокошева, Тельберга, Солнцева и еще кого то, кажется, Н. Ив. Кравченко. Бунтовали «на академической почве» студенты выпускного курса. Мы, с других курсов, им помогали, «поддерживали». На нашей, студенческого большинства, стороне были и декан И. И. Лященко, вскоре после этого уехавший из Томска, и новый декан Новомбергский. Бунт и зародился, собственно, в недрах совета факультета, среди профессуры. Отсюда он был переброшен в студенческую массу, где, разумеется, охотно был поддержан. Из Петербурга приезжая от министерства мирить и успокаивать Палечек. Был какой-то «академический суд» под председательством «нейтрального лица» проф. Боборыкова, директора Технологического Института. И я там, как представитель совета старост, принимал тоже какое-то участие. Но, всякий раз, встречаясь теперь летом, на отдыхе, в Циндао, с почтенным, заслуженным и так мною любимым и уважаемым проф. Г. Г. Тельбергом (который, все-таки, провалил меня на первом же зачете по истории русского права, перед всей аудиторией), я с неприятный осадком думаю теперь, как мы

тогда были болезненно-легко возбудимы и как легко было нас увлечь на что угодно.

Подпольная работа велась. И велась весьма энергично. Она проступала на периферии в землячествах, которые, хотя и обслуживали вполне легальные нужды, но, одновременно, какими-то таинственными путями, то через председателей, то через секретарей, были связаны или с рабочими профессиональными союзами, или с «комитетами» партий, или, с той или иной, эманацией столичных революционных центров. Побывав в гимназиях Омской, Екатеринбургской, Тобольской, Иркутской и в Тюмени, в реальном училище, я, естественно, имея приятелей во всех землячествах, но, почему то, особенно часто появлялся я в среде харбинцев (они удобнее жили и меньше были привязаны к политике) — словно мне еще в университете «на роду было писано» попасть в Харбин и прожить там целых 4 с половиною года. Итак, о подпольной работе. Придирались подпольщики к любому поводу, чтобы показать «кому следует», что силы протеста не дремлют. Врывается этакий левый товарищ в мирную аудиторию, как только ушел из нее проф. П. П. Орлов (неорганическая химия). — «Товарищи, завтра празднуем, объявляется однодневная забастовка». Невольно поднимаюсь со скамьи (скамьи идут все выше к потолку, амфитеатром) и спрашиваю: «По какому поводу празднуем?» — «Разве вы не знаете, — отвечает герольд, — годовщина смерти Толстого!». — «Хорошенькое празднество! И, затем, почему, товарищ, в день годовщины смерти надо бастовать?» Мои слова покрываются гулом протестов, кто-то свистит в мой адрес. Всем известно, что объявивший о забастовке, выполняет директиву «старостата». Появившись в аудитории, через секунду после ухода профессора, и сделав свое оповещение, он рисковал быть «пойманным» педелем или выданным провокатором из среды студентов и тогда для него начались бы неприятности, сначала с секретарем по студенческим делам, потом с самим

ректором и т. д., вплоть до полиции. Так что мой «неуместный» вопрос и то, что я смельчака задержал в аудитории, не могли встретить сочувствия «массы». Но, все-таки, почему мы обязаны бастовать в годовщину смерти Л. Н. Толстого? И кто мог нам приказывать? И в чем вообще сила и власть «старостата», который, до февральской революции тоже был на нелегальном положении, хотя университетская администрация, не говоря уже о левой профессуре, отлично знали, что «старостат» существует.

Или, такой пример. Приезжает, уже в годы войны, наш проректор проф. В. Н. Саввин, с фронта (он был хирургом). И читает, в студенческом медицинском Пироговском обществе, доклад о ранениях от тяжелых снарядов. Тема специальная, доклад делается в главной аудитории Анатомического института. После доклада, когда начинаются для медиков прения, слово просит технолог Закарая (пламенный оратор, чахоточный, из редкой разновидности большевиков-идеалистов) и предлагает поставить вопрос шире: «отчего все эти ранения и ужас и кто начал «империалистическую бойню?»... Общее смятение, смущен и проректор, все стараются замять эту историю, не выпустить из стен аудитории.

Я слушал, помню, нашего декана, экономиста, проф. П. И. Лященко, у которого очень старательно работал не только по политической экономии, но и по статистике и был поражен, когда он посвятил одну из своих лекций «причинам возникновения «европейской войны» (ее тогда не называли — великой) и, ни словом не обмолвившись ни о стихии исторических коллизий между народами, ни о пылающих патриотических чувствах, когда «ружья сами начинают стрелять» — очень плоско и весьма по-марксистки ортодоксально, истолковывал войну, как результат не то капиталистического, не то даже колониального соперничества держав. Видимо, ему никогда и в голову не приходило, что кроме русско-японской войны, была освободительная война России

с Турцией, были крестовые походы, что, вообще, в войнах есть не только свой пафос, но и своя мистика, элемент высокого идеализма, который никак не уложишь в прокрустово ложе исторического материализма. И все это делалось, так сказать, легально, в стенах Императорского университета, в годы войны, когда стояла на карте самая судьба России, как национального целого, как великой империи, у которой только потому лишь одному, что она была великой, врагов было (и должно было быть!) больше, чем друзей.

К этой же эпохе принадлежит приезд к нам, в Томск, товарища председателя Государственной Думы проф. Н. З. Некрасова, который играл столь заметную, хотя к мало похвальную роль в рядах Временного правительства. В Томск Некрасов приехал «к себе домой». Здесь он был раньше профессором, мостовиком, и притом — талантливым профессором. Здесь началась и политическая его карьера, разгоревшись столь ярким бенгальским светом. Здесь он «отбил» у кого-то из своих коллег жену. Словом, Некрасова в Томске хорошо знали и массы студенчества, конечно, его, что называется, «носили на руках». Он был удачлив в жизни, он был либерален, он за что-то даже, немножко, пострадал от «ненавистного начальства», он делал всероссийскую карьеру, вокруг него был налет романтики (отбил чужую жену), он был высок ростом, представителен, речист — можно ли удивляться, что его приезд в 1916 году явился для провинциального Томска событием. И вот, помню, как сейчас, вместительный зал Общественного собрания и столько народа в нем, сколько этот зал мог вместить. Будучи не только, как депутат, неприкосновенной для жандармов личностью, но, будучи, кроме того, товарищем председателя Государственной Думы (а всем нам памятно, чем была в глазах широкого общества, в 1916 году, Госуд. Дума!) он, избрав темой «Историю прогрессивного блока», говорил обо всем, о чем говорить хотел...

Я не был согласен с тем положением вещей, которое отчетливо определилось в России к 16-му году. Я был безоговорочным и страстным «оборонцем», простите за это дикое слово. Я, вообще, себе не представлял, как можно не желать, чтобы Россия победила. Я совершенно искренне был убежден в те годы, что виной всему была Германия, пангерманизм и даже мегаломания кайзера Вильгельма II, что нас заставили воевать. И чем больше я был, лично, настроен против Распутина и вообще против всего, что с Распутиным было связано, тем больше я хотел, чтобы война была «скорее выиграна» и тогда, в ликовании победы, сама собою, на солнце национальных торжеств, должна была «подсохнуть» вся распутинская грязь. О Распутине я кое-что знал больше других, так как жил некогда в Тобольске, проезжая с отцом, в кибитке, село Покровское, знал А. Н. Тройницкого, губернатора Ордовского-Танаевского, ряд других администраторов и выгораживавших «старца» и ломавших на нем свою шею. И, все-таки, Распутин-Распутиным, но война — войною и раз начав войну, Россия должна была ее с честью закончить.

И, вот, то, что я, студент, услышал, в 1916 году от товарища председателя Государственной Думы было и неожиданно, и страшно, и нелепо. Человек, с кафедры, бросал в зал зажженную паклю. Человек открыто, а, по условиям военного времени, и преступно, революционизировал толпу. Казалось, что он вел всех к кратеру огнедышащего вулкана, и мы уже заглядывали в этот кратер, видели бурлящую лаву, которая, вот-вот, взметнется силой адских подземных сил кверху и низринется, испепеляя все на своем пути, на наши головы. Хорошо было Розанову рассуждать, теоретически, на досугах, и при том после неудачной первой революции, о том, что «все таки революция права». Но тут, в грозе и буре великой, непосильной для нас войны, своими же руками, рыть могилу России — было от чего ужаснуться, как ужаснулся я на

докладе проф. Н. В. Некрасова. А вот, кстати, для памяти, что в 1911 г. на тему о революции, говорил В. В. Розанов:

«А голодные так голодны и все-таки революция права. Но она права не идеологически, а как натиск, как воля, как отчаяние! Я не святой и, может быть, хуже тебя: но я волк, голодный и ловкий, да и голод дал мне храбрость, а ты тысячу лет — вол, и если, когда-то имея рога и копыта, чтобы убить меня, то теперь — стар, расслаблен, и вот я съем тебя. Революция и «старый строй» — это просто «дряхлость» и «еще крепкие силы». Но это не идея, ни в коем случае не идея.

«Все социал-демократические теории сводятся к тезису: «хочется мне кушать». Что же, тезис то ведь прав. Против него «сам Господь Бог ничего не скажет». «Кто дал мне желудок — обязан дать и пищу». Космология. Да. Но мечтатель отходит в сторону, потому что даже больше, чем пищу — он любит мечту свою. А в революции — ничего для мечты. И вот, может быть, что в ней — ничего для мечты, она не удастся. «Битой посуды будет много», «но нового здания не выстроится». Ибо строит тот один, кто способен к изнуряющей мечте: строитель Микель-Анджело, Леонардо да Винчи: но революция всем им «покажет прозаический кукиш» и задушит еще в младенчестве, лет 11–13, когда у них вдруг окажется «свое на душе».

«А, вы — гордецы, не хотите снами смешиваться, делиться, откровенничать.... Имеете какую то свою душу, не общую душу... Коллектив, давший жизнь родителям вашим и вам, — ибо без коллектива они и вы подохли бы с голоду — теперь берет свое назад. Умрите!»

«И «новое здание», с чертами ослиного в себе, повалится в третьем-четвертом поколении» («Уединенное», Париж. 1928. Стр. 56–57).

VI

Хотя революцию, вернее, переворот (и, при том, больше — дворцовый) ожидали, но в Томск революция пришла, все-таки, неожиданно. Был конец февраля, приходилось усиленно заниматься к экзаменам. Стало известно, что следующий вне срока призыв, который и меня захватывал, предопределен, и я почему-то решил добиваться быть отправленным на Кавказский фронт, может быть потому, что никогда (и по сей день) не бывал в России южнее Тулы.

Два или три дня почему-то вдруг поредели сведения из Петербурга. Какие-то ничего не значащие телеграммы вермишельного характера приходили, «проскакивали», но дела не сообщалось. Это нас интриговало, но не очень. Все-таки «наперед» уже строились словно, в подсознании, какие-то новые, пока совсем неясные, предположения на счет того, что если «что-нибудь» случится, то так-то повернется судьба. Но в Сибири, даже в двадцатых числах февраля 1917 года, все казалось в административных всероссийских скрепах так прочно, что мысль, сразу же, осаживалась; — беспорядки могут быть, но они могут быть подавлены. Мы знали или чувствовали, что в Петрограде (официальное наименование, неофициальное по старому — Петербург) «Протопопов готовится».

Я помню зимний, серый, слегка буранный, с порошею, сибирский день числа 27 или 28 февраля, когда я шел из университета на Елань и встретил Костю Зерова, из Читы, который потом играл в «университетской революции» заметную роль и который был и раньше каким-то очень левым, кажется, пламенным эсером, — несмотря на свою милую желторотость. Он мне передал слух, что в Петрограде «беспорядки». Но все было так тихо, так мирно, так буднично и провинциально кругом нас, что весть эта от Зерова не материализовалась, ни во что конкретное в моем сознании. В тот же день, впрочем, с уже нараставшей непонятно почему

в душе тревогою, я пошел на главную улицу (представьте, выветрилось ее название) и дошел до Миллионной (или «Миллионная» была главною?). Был вечер, часов 7 или 8. И на главной улице горели огни. Туда вниз, к магазину «Макушина и Посохина», где печаталась весьма и даже очень весьма, радикальная «Сибирская Жизнь», несмотря на то, что в издательстве ее принимали участие солидные коммерсанты (торговали книгами и вели большую просветительную работу, чем гордились). Толпа стала как-то необычно густеть, и я запомнил, что в ней было больше, чем всегда солдат, людей «рабочего » вида, шустрой молодежи, что всегда вертится в России в вестибюлях кинематографов, гимназисты и, конечно, студенчество, барышни. Было какое-то еще неясное возбуждение. Проползали видимо и в их головах первые вести о том, что «что-то» случилось; решительно подалось, зловеще затрещало.

Точно же мы «все» узнали поразительно поздно — 1 марта. Тут, сразу, на наши головы повалил хлопьями, как тяжелый мокрый снег, поток сенсаций. Сначала пришло отречение Государя, потом, чуть не через два часа, в экстренных выпусках, сообщение о том, что отречется и великий князь Михаил Александрович, на которого у меня, лично, «была надежда» и, наконец, эта страшная речь П. Н. Милюкова, первая его речь после переворота, сказанная, если не ошибаюсь, в кулуарах, Государственной Думы, где он бросил слова о «старом деспоте». Я всегда был высокого мнения о Милюкове. И до сих пор, о нем, сейчас, когда пишутся эти строки, глубоком старце, я сохраняю высокое мнение, с ним считаюсь и знаю, что он был и останется самым известный в Европе представителем русского образованного общества и признанным авторитетом, как государственный деятель, и историк, и публицист и все такое прочее, вообще, «большой человек». Я восхищался, прежде, его гражданским мужеством, на кафедре Государственной

Думы. Мне импонировал его европеизм. Но эти ужасные слова, брошенные в гущу черни, ради ее потехи! Слова, так дико расходившиеся и тогда с фактами — «старый деспот».

Признаюсь открыто, что когда телеграмма-летучка о перевороте была внесена кем-то, стремглав, в нашу студенческую, убогую квартирку, я ее схватил из чьих-то рук и сразу как бы «понял глазами», не читая. Молния прорезала сознание (по старинной метафоре), что распутиновшине и Протопопову положен конец; я был в восторге, я захлебнутся от радости.

Ничто для меня, в эту минуту, не стояло больше между Россией и победой!

Самый же факт именно отречения Государя я встретил уже с меньшим воодушевлением. По мне, говорю это из глубин предельной искренности, было бы достаточно, так думалось в тот момент, того, что все ожидали, того, что нам из Думы столько раз обещали — ответственного министерства. Князь Львов, отчего не князь Львов? Было бы прекрасно даже, если бы В. Н. Коковцов, лишь бы «ответственное» правительство перед Думою. Я знал русскую историю, чувствовал ее стихийный ход, знал, угадывал, чувствовал своеобразие этой стихии, сам был частицею русской народной массы и я сразу понял, что отречение, это уже страшно, Государь это стержень, который вынимают из государства, из армии, в такой исторический, в такой ответственный момент на решающей этапе войны, победив в которой Россия должна была буйно зацвести и обновиться. Надежда была только еще на в. к. Михаила Александровича, раз Государь отказался и за Наследника. Но вот должен был отказаться, почему-то и в. к. Михаил Александрович, «вплоть до решения Учредительным Собранием». Одну деталь пропустил. Ход моих мыслей о возглавлении России шел в эти минуты и часы так:

— Если не Государь, то Наследник. Если не Наследник, то в. к. Михаил Александрович. Потом (ведь все события

мелькали одно за другим) была еще одна последняя зацепка перед черной ямой — в. к. Николай Николаевич. Если бы он объявил свою власть!!!

* * *

Но как же, все-таки, это все произошло? Пора дать точную картину, в назидание поколениям, идущим нам на смену.

Никто лучше В. В. Шульгина не дал описания, как «все это произошло», там, в смятенном Петрограде, столице России. И никто не мог дать, потому что Шульгин не только наблюдал из первого ряда, даже из литерной ложи, нет, лучше сказать, даже, из царской ложи, но и сам участвовал в важнейших событиях этих первых дней начала революции и конца старого режима.

Его книгу «Дни», изданную в 1925 году М. А. Сувориным, в Белграде, не обойдет без самого тщательного изучения ни один будущий российский Ленотр.

На стр. 139 он говорит: «они — революционеры, не были готовы, но она, — революция была готова. Ибо революция только наполовину создается из революционного напора революционеров. Другая ее половина, а может быть три четверти — состоит в ощущении властью своего собственного бессилия!»

Но и Шульгин признается (стр. 162): «Я не знаю, как это случилось!.. Я не могу припомнить!.. Я помню уже то мгновение, когда черно-серая гуща, прессуясь в дверях, непрерывным врывающимся потоком, затопляла Думу...

«Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди... Живым, вязким, человеческий повидлом они залили растерянный Таврический Дворец, залепили зал за залом, комнату за комнатой, помещение за помещением...

«С первого же мгновения этого потока, — отвращение залило мою душу, и с тех пор оно не оставляло меня. Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водоворота бросала

в Думу все новые и новые лица... Но сколько их не было — у всех было одно лицо: гнусно-животно-тупое и гнусно-дьявольски-злобное... Боже, как это было гадко! Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство... Пулеметов!

«Пулеметов, — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлоги вырвавшегося на свободу страшного зверя... Увы — это зверь был... Его Величество русский народ!.. То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало, хотели избежать, уже было фактом. Революция началась.

«С этой минуты Государственная Дума, собственно говоря, перестала существовать. Перестала существовать даже физически, если так можно выразиться. Ибо эта ужасная человеческая эссенция, эта вечно снующая, все заливающая до последнего угла толпа солдат, рабочих и всякого сброда — заняла все помещения, все залы, все комнаты, не оставляя возможности не только работать, но просто передвигаться... Своим бессмысленным присутствием, не прерывным гамом тысяч людей она парализовала бы нас, даже в том случае, если мы способны были что-нибудь делать... Ведь и найти друг друга в этом море людей было почти невозможно...

«Величайшей ошибкой, непоправимой глупостью всех нас было то, что мы не обеспечили себе никакой реальной силы. Если бы у нас был, хоть один полк, на который мы могли бы твердо опереться и один решительный генерал — дело могло бы обернуться иначе. Но у нас, ни полка, ни генерала не было... И, более того, — не могло быть... В то время в Петрограде «верной» воинской части уже или еще не существовало» (стр. 167).

27 февраля ночью, в Думе, Шульгин, согласно его собственному свидетельству, на стр. 182, решал вопрос о верховной власти так:

«Может Он царствовать? Может ли? О, как это узнать, как? Нет... не может... Все это, что было... Кто станет за Него? У Него — никого, никого... Распутин всех съел, всех друзей, все чувства... нет больше верноподданных... есть скверноподданные и открытые мятежники... последние пойдут против Него — первые спрячутся. Он один».

Чтобы спасти жизнь Государя, Шульгин видел только один путь:

«Чтобы спасти... надо или разогнать эту сволочь (и нас вместе с ними) залпами, или... Или надо отречься от Престола... Ценой отречения спасти жизнь Государю... и спасти Монархию... Если подавить бунт можно, то и слава Богу. Это сделают не только без нас, но и против нас... Николай I повесил пять декабристов, но если Николай II расстреляет пятьдесят тысяч «февралистов», то это будет задешево куплено спасение России. Это будет значить, что у нас есть Государь, что у нас есть власть... Но если не удастся? Если для этого ни полков, ни полковников не найдется? Тогда... тогда отречение... царствовать будет малолетний Царь... значит — Регент. Регент? Кто? Михаил Александрович? Да, кажется... Потом Верховный Главнокомандующий... Ну, Великий Князь Николай Николаевич, конечно... Затем... Затем — Правительство... Но кто? В сущности... в сущности — некого... (184 стр.).

И, на стр. 195, Шульгин, один из главных участников первых дней революции, должен был признать: «В конце концов, что мы могли сделать? Трехсотлетняя власть вдруг обвалилась, и в ту же минуту тридцатитысячная толпа обрушилась на голову тех нескольких человек, которые могли что-нибудь скомбинировать».

В записи дня 1-го марта, на стр. 216, он отмечает, какую роль сыграл «приказ № I». «Со всех сторон стали доходить слухи, что офицеров изгоняют, арестовывают... Офицерство стало метаться. С каждым часом настроение ухудшалось. Это были решающие минуты... Если бы можно, было вооружить

собравшихся в зале Армии и Флота офицеров, (их было до 2000 *Л. А.*) а главное, если бы можно было на них рассчитывать, т. е. если бы это были люди, пережившие все то, что они пережили впоследствии, скажем, люди корниловского закала, если бы кто-нибудь понял значение военных училищ и, главное, если бы был человек калибра Петра I или Николая I — эта минута могла бы спасти все... Можно было раздавить бунт, ибо весь этот «революционный народ» думал только об одном, — как бы не идти на фронт... Сражаться он бы не стал. Надо было бы сказать ему, что Петроградский гарнизон распускается по домам... Надо было бы мерами исключительной жестокости привести солдат к повиновению, выбросить весь сброд из Таврического дворца, восстановить обычный порядок жизни и поставить правительство не «доверием страны облеченное», а опирающееся на настоящую гвардию... Да, на настоящую гвардию...

«Гвардии у нас не было. Были гвардейские полки. Но чем они отличались от негвардейских? Тем, что гвардейские офицеры принадлежали к аристократическим фамилиям? Но аристократия далеко не всегда была опорой престолу... Начиная с Иоанна Грозного, и даже гораздо раньше, часть знати вела борьбу с монархией. Особенно резко это выразилось в выступлении декабристов, но и вообще было так: знатное происхождение совершенно не обеспечивало «политической благонадежности». Стоит только посмотреть списки кадет и «примыкающих», чтобы понять, где была знать... Но главное не в этом...

«Главное состояло в том, что давно уже было утрачено, а может быть, его никогда не было, утрачено истинное понимание, что такое гвардия... Гвардия должна быть «телохранительницей верховной власти». Понимая это более широко — гвардия должна быть тем кулаком, который принудит к повиновению всякого, не подчиняющегося власти.

«Достаточно ли, чтобы такой корпус имел только одних офицеров, на которых можно положиться? Это нелепость... Разве офицеры могут что-нибудь сделать во время солдатских бунтов? Опыт показал, что в гвардейских частях солдаты раньше чем в других бунтовались. Что же это за гвардия?

«Гвардия должна состоять из солдат, не менее офицеров настроенных гвардейски. Поэтому в гвардии должны служить люди не по набору, а добровольно и за хорошее жалование. И притом, это должны быть люди с известной закваской — каждый персонально известный, а не вербоваться по росту: кто выше всех ростом — тот гвардеец. Как будто преданность верховной власти есть функция роста: все большие — монархисты, а все маленькие — республиканцы.

«И притом, нельзя пускать гвардию на войну... Пусть поклонники принципа: pereat patria, fiat justitia говорят, что угодно. Пусть сколько угодно возмущаются «сытыми, краснощекими гвардейцами», которые сидят в тылу, — пусть называют их бездельниками и трусами — на это не следует обращать внимания. Полиция тоже дородная и краснощекая, а посылать ее на войну нельзя. Одно из двух: или гвардия нужна или нет. Если не нужна, то ее вообще не должно быть, а если нужна, то больше всего, нужнее всего она во время тяжелой войны, когда можно ожидать бунтов, революций и всякой мерзости. Гвардия должна оставаться в полной неприкосновенности, и назначение ее не против врагов внешних, а против врагов внутренних... Сражаться с врагом внешним можно до последнего солдата армии и до первого солдата гвардии... Тогда она вступает в действия, одной рукой приводит в христианский вид парализованную поражением армию, другой — удерживает в границах повиновения бунтующееся население. Проигранная война всегда грозит революцией. Но революция неизмеримо хуже проигранной войны.

«Представим себе, что в 1917 году мы бы имели нетронутую и совершенно надежную в политическом смысле гвардию. Никакой революции не произошло бы. Самое большое, что случилось бы — это отречение Императора Николая II. Затем, допустим, что разложившаяся армия бросила бы фронт. Новый Император или Регент заключил бы мир — пусть невыгодный, но что же делать?... Затем, при помощи гвардии, восстановил бы порядок повсюду, ибо мы отлично знаем, что взбунтовавшиеся войска не способны бороться с войсками, сохранившими дисциплину... Пусть беспорядки продолжались бы год, два, три... — все равно: власть, опирающаяся на твердую силу, восторжествовала бы, тем более, что с каждым днем анархия надоедала бы... Итак, быть может, главный грех старого режима был тот, что он не сумел создать настоящей гвардии... Пусть это будет наукой будущим властителям». (Стр. 217–220).

* * *

Шульгин, давая ответ на вопрос «как» произошла революция, не отвечает до конца на другой, в высшей степени важный, вопрос, «почему» произошла революция или, вернее, какие причины содействовали тому, что вся мыслящая Россия так легко прияла революцию, подчинилась ей, влилась сразу в поток этой стихии.

В споре с А. Л. Казем-Беком, Ек. Кускова отмечает, что русская революция не была совершена «во имя марксизма».

«Истоки русской революции, — ее зарождение, — уходят к таким далеким временам русской истории, — говорит Ек. Кускова, — когда еще не было на свете самого Маркса. Декабристы, Герцен, шестидесятники, народовольцы 70–80-х годов были также далеки от марксизма, как и Родзянко, возглавивший революционный комитет Государственной Думы. Понятия не имели, ни о каком Марксе, ни солдаты на фронте, в значительной мере решившие судьбу революции, ни

крестьянство, ни даже обширные слои служилой интеллигенции, тоже быстро присоединившиеся к революции».

Вот на эти то «обширные», по словам Ек. Кусковой, слои русской интеллигенции я и хочу обратить особо пристальное внимание. П. Сазонович недавно опубликовал в Париже очень удачную, хотя излишне хлесткую, задиристую статью на счет нашей радикальной интеллигенции. Не со всеми его построениями можно согласиться, но в основных линиях мысли он, конечно, прав:

«Реформа Петра Великого создала особое умонастроение и привела, между прочим, к возникновению характерного типа «людей», единственное назначение которых заключалось в том, чтобы, выражаясь словами Достоевского, «представлять идеи» и «стоять перед отчизной воплощенной укоризной». Сначала эти люди, «представляющие идею», укоряли отчизну одним своим европейским видом. Уже здесь мы видим зачатки презрения к народу и к национальной культуре, как к чему-то низшему, нестоящему.

«Русская культура выделяла людей духовного творчества и умственного труда. На поверхности реформы образовалась интеллигентская язва, поросла «радикальная плесень». Появились «франкофилы», «англоманы» — ничего общего не имеющие ни с Россией, ни с Францией, ни с Англией.

«Поистине правы были культурнейшие авторы «Вех» (1909 г.), утверждая, что только царское правительство защищает людей умственного труда, которым грозил погром от черни, руководимой радикал-интеллигентами. «Рассудочник-интеллигент, — говорит о. П. Флоренский, — на словах любит весь мир и все считает естественным, но на самом деле он ненавидит весь мир в его конкретной жизни и хотел бы уничтожить его, с тем, чтобы вместо мира поставить понятия своего рассудка, т. е., в сущности, свое самоутверждающееся «я»; и гнушается он «естественным», ибо «естественное» — живое и потому конкретно и невместимое в понятия, а ин-

теллигент хочет всюду видеть лишь искусственное, лишь формы и понятия, а не жизнь...»

«Отсюда ненависть радикал-интеллигенции к гению и гениальности (особенно в области искусства) и борьба их за искусственность против искусства. Вот основа «практицизма», узкого и плоского «утилитаризма» революционеров. Они «пребывали словно пыль, оторванная от земли, но не вознесенная на небо». Злое назначение радикальной интеллигенции состояло в том, чтобы тщательно контролировать, цензуровать и фильтровать все, что шло в Россию извне и производилось внутри ее. Всячески распространялось и внедрялось все разрушительное и разлагающее.

«Русское общество издавна и систематически питалось превратными и обезображенными представлениями во всех почти областях политики, искусства, философии, богословия и литературы. Из Пушкина и Чадаева сделали революционеров, из Достоевского психолога, а из Гоголя обличителя-реалиста. Ни кто другой, как Белинский объявил «паралич» пушкинского гения и смешивая с грязью Гоголя и Баратынского. Писарев пришел уже на готовое. Целая плеяда первоклассных поэтов, писателей и мыслителей была ошельмована не радикальщиной. Баратынский, Фет, Ап. Григорьев, Достоевский, Случевский, Лесков, Писемский, Константин Леонтьев, Катков, Юркевич, Вл. Соловьев, Б. Н. Чичерин, Н. Федоров, Лопатин и др.».

Предоставляем слово В. В. Розанову, который дал уничтожающую характеристику радикальщины, пребывавшей до войны заграницей. Этот замечательный фрагмент напечатан в журнале «Богословский Вестник» за март 1913 года и оставался совершенно незамеченным в то время.

«Что же нам делать с этими детьми, проклявшими родную землю, проклинавшими ее все время, пока они жили в России, проклинавшими устно, проклинавшими и печатно, звавшими ее не« отечеством», но «клоповником», «черным

позором человечества», «тюрьмою» народов, ее населяющих и ей подвластных? Что вообще делать матери с сынами, вонзающими в грудь ей нож? Ибо таков смысл революции, хохотавшей в спину русским солдатам, убиваемым в Маньчжурии, хохотавшей над ледяной водой, покрывшей русские броненосцы при Цусиме — хохочущей и хохотавшей над всем русским — от Чернышевского и до сих пор, т. е. полвека. Об этой матери в этой загранице они рассказывают, что та всего только блудница и всего только воровка, которую давно надо удавить на грязной веревке... Что же вы мучите Россию, что же вы тянете жилы у старухи 900-летней старости, 900-летняго труда, 900-летняго терпения, которая собирала дом свой 900 лет!

«Эти «райские люди» невинные, непорочные, без грехопадения в семье и только немного нуждающиеся в деньгах. Вот некоторое мамашино наследство им интересно...

«...Они будут нашептывать нашим детям, еще гимназистам и гимназисткам, что мать их воровка и потаскушка, что теперь, когда они по малолетству не в силах всадить ей в спину нож, то, по крайней мере, должны понатыкать булавок в ее постель, в ее стулья и диван; набить гвоздочков везде на полу... и пусть мамаша ходит и кровенится, ляжет и кровенится, сядет и кровенится. Не нужно звать погрома в Белосток, не надо погрома звать и в России: ибо революция есть «погром России», а интеллигенция «погромщики» всего русского; русского воспитания, русской семьи, русских детей, русских сел и городов, как все Господь устроил и Господь благословил».

VII

Но вернемся, однако, к революционному Томску.

Первого марта, когда мы «все узнали», день были на редкость яркий и солнечный.

2-го марта день стал серым. И в большой аудитории «Анатомки» профессор по кафедре философии права В. Михайловский, самый строгий к нам и с нами, и многим за многое и, в особенности, за строгость — одиозный, не обращая внимания на то, что скрепы уже ползут и все раздается вширь и вглубь и бурлят уже и гудят революцией коридоры, объявил лекцию:

— «О государственном строе».

Тема была исключительно сенсационной. Многие уже предвкушали, что и он, как и все прочие, как Грамматикати (один из правейших) про которого сочинили сразу злой стих:

«Перевернулся весь свет,
Что за таинственный танец?
Грамматикати — кадет.
Ррес-пуб-ликанец!» — станет петь новые песни.

Но Михайловский, уже немолодой и некрасивый, больной сердцем, с каким-то странным акцентом («рэгулятивый нрэнсип») появился спокойно в битком набитой аудитории, куда пришли все, кто мог, кто понимал, кто интересовался тем, что происходит вокруг нас, даже те студенты с красными повязками на рукавах, которые сразу, в первый же день вестей, попали в милицию и уже охраняли, арестованного в своем «дворце», губернатора.

Михайловский был, «как всегда», в неновом, обычном, строгом сюртуке и, как всегда, в свежем крахмальном воротничке, отложном, под которым был, как всегда, для сюртука, довольно яркий галстук, но голубой, а не какой-нибудь бордовый, как уже у некоторых гг. профессоров. Он был спокоен, он был академичен, он ничем не выдал своего внутреннего большого волнения, хотя и знал, что после ректора и Грамматикати он едва ли не самый одиозный и, вероятно, чувствовал, что от «русской революции» он то уже, так или

иначе, но обязательно пострадает. И он сказал то, что он всегда думал, — мы это поняли сразу, хотя в годы реакции он скрывал, что идеальным строем и в науке и в его личном мнении надо считать «конституционную монархию», в которой «власть законодательная» отделена от «власти исполнительной» и «власть исполнительная» подчиняется «власти законодательной», а над всем над этим «царит Корона», равно священная как для власти законодательной, — органы широкого конституционного представительства — так и для власти исполнительной.

Потом он резко отозвался о республиканских строях, всех вообще, всегда гораздо более разорительных, любостяжательных и не сбалансированных, неустойчивых. Мы о «конституции», прежде, от Михайловского так ярко не слыхали, но ведь 80 процентов студентов ко 2-му марта 1917 года были в Томске и по всей России республиканцами и его мужественная, научная, строгая, но к русской истории неприложимая — увы! — лекция была воспринята корректно, но холодно.

Мы уже переплеснули через край! Опустели лекции, наполнились митинги. Старостат всплыл наружу и выборы в него были проведены, не дожидаясь «каких-то там» разрешений из Петербурга или согласия «гражданина» ректора: начальство стало маленьким, и начальство как-то фатально, как и в 1905 году, «ушло». Я сначала попадаю в милицию, не затем, чтобы ходить самому в патрулях, но попадаю на вокзал, Томск Второй, проследить, как будет происходить посадка очередного эталона «на фронт». И вот, когда я, в тот же день, увидел как этот эталон пришел, как он, очень нехотя, размещался, как офицеры, сразу, оказались словно «ни при чем», я, после мук, и дум, и хлопот этого нелепого, пестрого «исторического дня», придя домой в свою коморку и, ложась спать, очень поздно, перед рассветом, — понял, что все провалилось, что власть переходит к улице, что образованные

классы силы не имеют, что мы несемся куда-то вскачь, в черную пропасть — и где спасение, от кого оно?!

Потом закрутилась лихорадка революционных дней. Я попадаю (от своего курса) в Совет студенческих старост. Заседаю в нем, заседаю на сходках по курсам и общих сходках, делегируюсь на сходки в Технологический институт, на Женские курсы, попадаю в совет объединенных старостатов, митинги идут по всему городу — речи, флаги, резолюции, куда-то далеко уходят занятия, зачеты, экзамены, всероссийские события меня тоже поглощают. В университете начинает бурлить движение за отмену «минимумов», мы, лидеры как ни революционны наши слова на сходках, внутри старастата остаемся еще верны решимости довести академический год до конца, мы все еще (и на словах и на деле) пламенные патриоты, оборонцы, мы снаряжаем санитарный отряд на фронт, но студенческая масса требует: «хлеба и зрелищ».

«Хлеб» это отмена экзаменационных минимумов, так прямо и думали (даже студенты), что раз революция, то к черту экзамены и стоит ли корпеть над книгами? Во всяком случае, — «отложить экзамены до осени». А «зрелища» — это митинги.

Давайте им больше митингов! Чтобы громче были речи. Ярче лозунги. Смелее решения! Толпы пьянели...

* * *

Революция 1905 года проходила по улице, революция 1917–1918 гг. вошла в дома. О той, первой, революции Розанов мог писать, напрасно сетуя на себя, за свою уединенность, следующее:

«Поразительно, что иногда я гляжу во все глаза на «событие» и даже пишу о нем статьи, наконец, — произношу о нем глубоко раздельные слова ясного, значительного смысла, в уровень и в «сердцевину» события: и, между тем, совершенно его не вижу, не знаю, ничего о нем определенного не думаю,

и «хочу ли» его или «не хочу» — сам не знаю. Я сам порадовался (душою), когда ухом услышал свои же слова: — Господа, мы должны радоваться не тому, что манифест дан: но, что он не мог не быть дан, что мы его взяли.

«Это когда Столыпин (А. А.)» войдя в общую комнату, где были все «мы», сказал, что Государь подписал манифест» (17-го октября)... Все заволновались, и велели подать шампанское. Тут я, вдруг сделавшись торжественно-настроен, с чем-то «величественным» в душе (прямо чувствовал теплоту в груди) и сказал эти слова, которые ведь были «в сердцевину» события...

«Между тем мне в голову не приходило, что дело идет о конституции. До такой степени, что когда я пошел домой, то только с этой мыслью, что дня на три, а может — дней на пять, можно отдохнуть от писания статей. Пришел домой и сказал это, и сказал, что завтра и послезавтра не надо идти в редакцию. Сообразно этому на завтра я велел приготовить себе белье, и отправился на Знаменскую лежать на полке в горячем пару, «отложив все попечения» (моя в своем роде «херувимская»)... И вечером что-то возился около бумаг, монет и около чая.

«Вдруг послезавтра узнаю, что «вчера шли по Невскому с красными флагами... единственный и первый раз в русской истории при «благосклонном сочувствии полиции»... Единственная минута, единственное ощущение, единственное переживание. Ведь я же это понимаю. О! Да!!! Но я «пролежал в пару»! («Уединенное»).

От второй революции Розанову из Петербурга пришлось укрыться в Сергиеву Лавру и там, умирая, он писал свой «Апокалипсис» в котором с невыразимой мукой спрашивал: «Россия — где ты? Откликнись»!

Итак, возвратимся к нашему рассказу. За полтора года до того, как в Сибири началась настоящая «гражданская война» белых с красными, она дала о себе знать в Томском универси-

тете: она вспыхнула между профессурой и студенчеством. Причем, перебежчики, дезертиры и «соглашатели», были с обеих сторон. Профессора, как старшее поколение, хотели, чтобы занятия продолжались, «как обычно», чтобы командовали университетскими делами они, чтобы указания высшего порядка получались из Петербурга. Студенты же сразу отбились от рук, хотели делать все, что им угодно, только не то, что они делали «при царском режиме» и надрывали глотки на митингах. Перебежчиками «на сторону профессоров» были академисты, или то, что в демократическом Томском университете мы имели под этим именем. Они хотели учиться, они были решительно против забастовки. Об этом они говорили и на сходках. Среди них выступал студент Н. И. Колесниченко. Их было меньшинство. А подавляющее большинство, в котором оказался и я (прежде всего и больше всего потому, что я был старостой курса, а, потом сам, того не ожидая получил и другие «титулы»: члена «совета старост», члена «объединенного совета старост» и с осени стал одним из трех членов «студенческого суда») — стояло за то, чтобы совет профессоров не игнорировал желаний студенчества. «Старостат» был искренно и горячо против забастовки, но, несомый на гребне волн бушующего моря, должен был вчинить ультиматум совету профессоров — «отменить экзаменационный минимум», как пережиток «павшего режима».

Мы, старостат, плыли по течению, уносимые бурлящей массой, не потому, что «цеплялись за власть», а потому, что искренно думали, что если старостат нашего состава студенты свергнут, то на смену ему придет еще более анархический старостат (чувство, которое было, должно быть, у некоторых членов Временного правительства). И, вот, сомнительная честь представлять «интересы революционного студенчества» в совете профессоров выпала на меня. Почему выбрали меня, я сам не знал! Может быть потому, что для студенческой массы зал заседаний совета профессоров (которых и в Томске

было очень много) по-прежнему казалось местом очень важным, очень торжественным и чопорным, а я всегда появлялся в форменной, красиво сшитой, тужурке, при крахмальном воротничке и слыл (без оснований) белоподкладочником.

Когда я шел, после бурной, решительной сходки, на которой присутствовало тысячи три человек и на которой я понял, что, не смотря на мои страстные призывы к благоразумию, эта масса, как раздраженный зверь, все равно полезет на рожон, и после лихорадочного совещания, в крохотной прозекторской, Старостата, где мне от руки писался «мандат» на уже начавшееся заседание совета профессоров, я волновался так, как волновался лишь несколько раз в своей жизни. Проходя по торжественному коридору в те заповедные хоромы, куда мы, всего месяц назад, не имели права попадать — я еще раз убедился в том, что внешне я «вполне comme il faut» и решил быть вежливым до предела.

Курьер распахивает передо мною дверь, и я среди «ареопага». С таким чувством, я думаю, члены первого рабочего правительства входили на аудиенцию к английскому королю, целовать его августейшую руку. Как раз передо мною оказалась та часть огромного, крытого зеленым сукном, стола, раскинутого покоем, за которой, в центре, прямо передо мною, находился новый ректор, проф. В. В. Сапожников, проректор проф. В. Н. Саввин, далеко влево я нашел декана юридического факультета проф. Н. Я Новомбергского, а сам я сел vis a vis старого профессора Александрова, седого, как лунь, читавшего на втором курсе органическую химию. Рядом с ним сидел физиолог Кулябко, опыт которого с оживлением сердца создал ему мировую известность и который был женат на удивительно молодой женщине, а она всегда долгими и внимательными глазами смотрела при встрече на нас, студентов.

Меня встретили со сдержанной любезностью, подобно тому как, надо полагать, встретили, незадолго перед тем в ставке Верховного Главнокомандующего в Могилеве, делега-

тов революционной Государственной Думы. По должности преподавателя женской гимназии, я бывал, конечно, на педагогических советах, но пленум совета профессоров поразил меня своей импозантностью — огромный стол, масса почтенных лиц, торжественная тишина и какая-то истовость обряда заседания. Они тоже, вероятно, переживали нервно это вторжение постороннего и, как сразу для меня выяснилось, — враждебного им элемента. Но я все сделал, чтобы держаться корректно, сдержанно, в высшей степени любезно и даже предупредительно, хотя и сознавал, обостренным по моменту сознанием, что это не тот modus, которого от меня ждет революционная масса, представителем которой я в данный момент являлся.

— Теперь, — сказал декан Сапожников, впоследствии министр народного просвещения, — мы выслушаем, что нам скажет представитель гг. студентов.

Мой голос, уже привыкший к митингам, здесь несколько дрогнул, но, потом я как-то овладел собой и доложил, что совет студенческих старост полон желания довести академический год до конца, но, принимая во внимание, что многие студенты потеряли больше месяца, так как находились в рядах городской милиции и многие хотят, теперь же без промедления, отправиться в действующую армию, в санитарных поездах и для политической работы, старостат просит совет профессоров (сходка мне приказала требовать!) отменить, как меру временного порядка, «экзаменационный минимум».

Мое заявление было, на одном из крыльев стола, где то у окон, встречено гулом явного, хотя и академически-сдержанного, негодования. Вообще многие профессора тогда еще не могли «переварить», что представитель «гг. студентов» может быть допущен на заседание их совета. Я мгновенно угадал рост враждебности в атмосфере, почувствовал себя «посторонним телом» и от этого, как от удара хлыста, сам

стал «испарять» из себя почтительность и священный трепет, в охвате которых переступил порог этого «святая святых». Я знал, что пришел сюда с лучшими намерениями, я сознавал себя далее «заложником» неистовавшей в актовом зале массы, которая хотела голого бунта, душой я был на стороне не студентов, а профессоров, которые внутренне приняли меня «в штыки». На сердечность и понимание я мог рассчитывать только у декана юридического факультета, который знал меня лично и знал, что ни на что демагогическое я не способен. Но я, одновременно, был не способен и стать изменником тем, кто меня сюда послали, кто мне оказал доверие, как представителю «объединенного студенчества».

— Что же будет, — спросил меня, с нескрываемым ядом, кто-то из профессоров-медиков, где вопрос об экзаменах стоял гораздо острее, т. к. требования этого факультета были строже, — что же будет, если мы не согласимся на отмену экзаменационного минимума?

— Студенты прекратят занятия, — сказал я твердо, громко, звонко (сейчас я был уже с ними, с той бушующей толпою, которую нам, старостам, едва-едва удалось уломать идти конституционный, а не революционный путем — прямых действий!)

— Ах, вот как? Гг. студенты хотят нас запугать! Нам предъявляется ультиматум! — сказал другой кто-то, тоже из явно враждебно настроенных к моему появлению.

Тогда слово берет проф. Новомбергский, ладивший и любимый массой. Он пытается успокоить страсти. Он объясняет «коллегам» позицию совета старост. Но профессорская позиция неумолима. Никаких угроз со стороны студентов профессора не допустят! Они действуют в строгом соответствии с существующими и все еще не отмененными законоположениями, из министерства указаний на счет отмены экзаменационного минимума нет, студентам, если им угодно, надо действовать иначе, они могут, наконец, сами снестись с мини-

стерством, — с кем им угодно! — но, впредь до получения распоряжений из центра, совет профессоров не может вообще входить ни в какие переговоры с «самочинной организацией» совета студенческих старост. Профессора будут продолжать чтение лекций, объявят экзаменационные сроки и закончат год, как всегда. Да-с!

Ректор, который хотя и чувствовал «обстановку момента», старательно скрывал свои чувства — тогда, все-таки, никто еще не знал, чем вся эта революционная заваруха кончится (апрель 1917 г.).

Исход голосования был предрешен. Подавая свою записку, ко мне, через стол, наклонился проф. Кулябко и конфиденциально и заискивающе тихо сказал, что хотя он «понимает настроения студенчества», он должен отвергнуть предложение об отмене минимумов. Также извинился передо мной за то, что голосует «против», старый, почтенный, седой как лунь, проф. Александров, у которого была прелестная дочь, с длинной косою, украшенной красивым бантом, в которую мы все, тайно, были влюблены и с которой проф. Александров любил гулять под ручку по улицам.

Проф. Александрову я, в высшей степени вежливо, но сдержанно осаживая, ответил, что голосование тайное и каждый «должен действовать по велению своей совести». Я же только передаю инструкции сходки и старостата.

Предложение студентов было провалено быстро. Подавляющим большинством голосов! Я немедленно покинул зал совета и поспешил, не чувствуя под собою ног, в старостат.

Там не удивились, там были готовы к ответу, который я принес. Коноводы в старостате, вообще, были люди, сделанные из другого материала, чем я. Они, словно, даже обрадовались, что старорежимные «люди в футляре» не пошли на сговор с ними. Тем лучше!

На следующий день была, громко и победно, объявлена забастовка. На дверях главного университетского входа был

выкинут гордый плакат, воспрещавший идти на лекции, требовавший прекратить запись на экзамены и зачеты, грозивший бойкотом штрейкбрехерам. Гражданская война на университетском фронте запылала!

Профессура скоро пошла на уступки, так как Петербург испугался забастовки и потребовал успокоить «массы». Мы — представители старостата — снова прибыли в совет профессоров. На сей раз, как триумфаторы. После второго или третьего совещаний, когда я прощался глубокой ночью со ставшими мне уже хорошо, «внутренне» знакомыми гг. профессорами, проректор В. Н. Саввин удержал мою руку в своей большой, крепкой, твердой и холодной ладони и сказал: — «Э, батенька, да у вас жар! И сильный жар! Идите домой, а утром я заеду». Утром, еще до тех пор, пока приехал этот умный, смелый, стойкий ученый, я вызвал университетского врача, д-ра Адамова, и свалился в тифе. Революция понеслась сама по себе, над моей пылающей головой.

VIII

Воспоминания мои, о давних впечатлениях от революции в России через школу, нашли оригинальный отклик.

В Шанхае отыскался коллега мой по университету, который был так любезен, что доставил мне студенческий журнал, который я редактировал.

Номер журнала, который у меня теперь перед глазами, датирован апрелем 1918 г. Назывался он в духе и стиле эпохи: «Известия Советов Студенческих Старост г. Томска. Двухнедельный студенческий журнал».

Ко времени выхода этого журнала, Томск уже был захвачен советской властью. Произошло это, поскольку не изменяет память, следующим образом: несколько недель спустя после октябрьского переворота в Петрограде, бессильная власть эсеровского городского самоуправления чуть ли не сама себя упразднила.

Во всяком случае отчетливо помню, что Томск верил в то, что, когда представители города пошли в совдеп, находившийся в казармах, сдавать власть, большевики не поверили и думали, что это провокация, чтобы цензовые элементы (по тогдашней терминологии) могли забрать совдеп «голыми руками»: делегацию не хотели пустить, пугливо смотрели из окон казармы: — нет ли где засады...

Но скоро, очень скоро Исполнительный Комитет Губернского С. Р. С. и К. Д. стал забирать в Томске настоящую власть в свои руки и, так как на его стороне были городские низы и окончательно разложившиеся части местного гарнизона из запасных, то совдеп, во главе с тов. Беленцом, получил возможность «показать зубы».

Но, все-таки, как явствует из того журнала, который лежит перед глазами и под которым стоят подписи пяти членов «редакционного коллектива»: Л. В. Арнольдов, Г. Б. Вишняк, А. Г. Коган, М. М. Купицкий и С. К. Неслуховский — свободное и независимое слово еще не было окончательно задушено, и для Томска период террора еще не начался.

Первый удар по студенчеству — массе молодежи, тысячи в три человек, — большевики решили нанести только к концу марта 1918 г., иными словами, месяца через четыре после своего прихода к власти. На стр. 12-ой упомянутого журнала, находим сообщение:

«Аресты. 30 марта арестованы, по ордеру Исполнительного Комитета Губернского С. Р. С. и К. Д., проф. Новомбергский и студенты: Розеншток, Шаманский, Блюгерман, Дебрей, Зорин, Немиро, Рудаков и Белешовитский».

Живо помню серый, весь в сумерках, мартовский, как то тоскливо суровый день, когда к нам в аудиторию, где проф. Н. Я. Новомбергский читал курс административного права, вбежал взволнованный первокурсник и истерически крикнул:

— Как вы можете читать, профессор, когда красная гвардия окружила университет и на нас направлены пулеметы!

Н. Я. Новомбергский, высокий, бритый и красивый, в традиционном сюртуке, человек который в условиях парламентского строя непременно сделал бы карьеру народного трибуна, слегка бледнеет.

Он знал, что подлежит аресту, как один из самых популярных в этот период среди студенчества профессоров, и говорит:

— Коллега прошу вас успокоиться и сесть! Я должен закончить свою лекцию!

И, обращаясь к аудитории, добавляет:

— Автономия высшей школы — это самое святое, что у нас имеется. С тех самых пор, как еще в XI веке, возникли в Западной Европе университеты, их история была неотделима от их автономии. Юридические школы Равенны и Падуи и медицинская в Салерно, дали первые образцы университетской организации, которые мы всегда старались отстаивать и перед самодержавием и перед новой властью захватчиков! Пусть, если хотят и если посмеют, они ворвутся сюда и заставят нас прекратить наши занятия, но сами мы будем спокойно продолжать наше дело. Вспомним того великого ученого древности, который во время осады Сиракуз, отстранив ногу солдата, сказал бессмертные слова: «Noli me tangere».

И Новомбергский дочитал лекцию до конца.

Когда он спускался по лестнице, окруженный густою толпою студентов, высясь над нею своим могучим ростом, перед нашими глазами, сверху, с лестницы, открывался вид на весь огромный нижний коридор, который бурлил студенческой толпою.

В этой толпе, как сейчас помню, было приметно среди юных лиц, выразительное старческое лицо нашего нового ректора, знаменитого ученого ботаника и путешественника, исследователя Алтая, проф. В, В. Сапожникова, а, вдали, у дверей своего кабинета, стоял, как изваяние, мужественный проректор В. Н. Саввин.

Университет был окружен мадьярами, никого из него не выпускали. Обыском руководили два наших студента большевика, фамилию одного помню до сих пор, это был первокурсник Якимов, впоследствии «общественный обвинитель» в революционном трибунале, в Хабаровске.

4 апреля 1918 года мы созвали сходку всего студенчества в Актовом Зале и вынесли резолюцию, текст которой, доставленный также мне старым коллегой, лежит у меня сейчас перед глазами:

«Томское студенчество, собравшееся 4-го апреля, считает необходимым, прежде чем приступить к своим очередным делам, выразить свой протест против совершенных на днях местным совдепом насилий.

«Власть душит свободную печать, закрывая в городе все газеты, угощает все население своим погромным листком, называющим себя органом «пролетарской культуры», разгоняет избранные всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием земства, Городскую Думу, разрушив их до основания, назначив исполнять их функции своих безграмотных чиновников, власть, арестовывающая наиболее идейных и честных из членов совдепа, терпит в своей среде, в это же самое время, лиц, запятнавших себя уголовными деяниями, для поддержания своего могущества она окружает себя бандой германских наемников, не доверяя русским рабочим и крестьянам, именем которых эта власть себя прикрывает.

«В Петрограде эта власть расстреляла семь студентов, в Томске она, среди прочих, арестовала также 7 студентов, пользующихся всеобщим доверием и известных студенчеству своей борьбой за дело народа.

«Мы, томское студенчество, протестуем против этих арестов и с негодованием отвергаем измышления о контрреволюционности наших товарищей, мы требуем открытого гласного суда, а не суда застенка, именуемого Революционный

Трибуналом. Теперь же, до суда, наши товарищи должны быть немедленно освобождены!

«Мрачные тучи, нависшие над нашей многострадальной родиной, должны разрядиться, справедливость должна восторжествовать, мир, заключенный самодержцами из Смольного должен быть расторгнут. Тайной брестской дипломатии должен прийти конец!

«В надежде на светлое будущее, томское студенчество шлет свой товарищеский привет своим заложникам, томящимся в застенке томского совдепа, и призывает всех граждан бороться за попранные права, памятуя, что только борьбой последние обретаются».

Эта резолюция была нами отпечатана и, в тысячах экземплярах, распространена по городу, т. к. советский официоз ее бы все равно не напечатал.

Борьба наша с совдепом была тем более трудна, что во главе томской красной гвардии стоял наш же студент, очень высокий, рослый и, если хотите, даже стильный парень кавказского типа, фамилия которого выветрилась у меня теперь из памяти.

Он был очень эффектен на сходках, одетый в какую-то фантастическую по украшениям полувоенную гимнастерку, когда он стоял на кафедре, не двигая ни одним мускулом на красивом лице и когда у него под ногами бушевало море негодующих студенческих голов, которым он смело противопоставлял свою вызывающую фигуру».

Арестованных студентов нам не освободили, и мы решили устроить «академический суд» над теми двумя студентами, которые руководили обыском в университете, по обвинению их в нарушении — «университетской автономии».

Будучи избран студенческим судьей на 1917–1918 академический год, на суде председательствовал пишущий эти строки.

В день суда в советской официозе появилось недвусмысленное предупреждение, что если студенты осмелятся судить «товарищей, выполняющих директивы Исполкома», то университету несдобровать.

Несмотря на угрозу, суд, все-таки, состоялся. Большая «Первая» аудитория не могла вместить всех желающих присутствовать на этом своеобразном суде, где обвиняемые, конечно, отсутствовали, но где свидетельские показания давали: ректор, проректор, деканы факультета и директор Томского Технологического Института проф. П. И. Бобарыкин.

Заседание это, длившееся около пяти часов подряд, сопровождалось многими драматическими эпизодами. Обвиняемые были заочно приговорены к исключению из университета «в административном порядке».

А председательствующему судье пришлось срочно покинуть город.

Еще хочется в заключение процитировать из этого единственного сохранившегося экземпляра старого студенческого журнала, всколыхнувшего во мне столько воспоминаний молодости, следующую заметку из хроники.

«Советом Старост Университета 1 марта был устроен литературный суд, чистый сбор с которого, в сумме 246 руб. 55 коп., пойдет на взнос добавочной платы за недостаточных товарищей. Совет старост приносит благодарность: Л. В. Арнольдову, М. Бараховичу и Э. М. Полякову за устройство вечера».

К этой заметке можно только прибавить, что из трех названных здесь участников диспута поэта Михаила Бараховича расстреляли в 1920 году красные, а Э. М. Поляков стал, потом, помощником народного комиссара внутренних дел в Москве, кажется у цареубийцы Белобородова. Но в марте 1918 года мы, все трое, еще находили и время, и желание выступать на диспуте, посвященном Моцарту и Сальери.

Белый Омск. Война Предтеча

Белаго Омска не существовало бы в истории, если бы не было войны в Европе 1914–18 гг. При наступлении революции без этой войны, даже при возникновении сибирской вандеи, распоряжающимся событиями центром мог оказаться не Омск.

Больше того — именно война 1914 года предопределила облик белого Омска, дала ему тех деятелей, которые белым Омском управляли, и своим преждевременным для Омска финалом 11 ноября 1918 года именно эта война обратила героическую эпопею Омска в трагический фарс.

Поэтому истории белого Омска должно обязательно сопутствовать предисловие: как началась война 1914 года, какие силы породили ее?

Ген. Деникин, один из выдающихся наших генералов в годы европейской войны а, потом, один из двух вождей, руководивших гражданской войной со стороны белых, в 1934 году, в Париже, категорически заявил, что «Россия не ответственна за мировую войну». По его убеждению, основанному на изучении документов различных министерских архивов и мемуаров главнейших участников событий, ответственность за мировую войну несет не Россия, а Германия. Для нас авторитет А. И. Деникина в этом вопросе неоспорим. Кроме того, мы знаем его беспристрастность и благородство и принимаем его вывод без оговорок. Какими же фактами оперировал ген. Деникин, прежде чем вынести свое решение?

Он указывает, что, начиная с 1904 года, Германия ведет настойчивую борьбу с Францией в Марокко. Она старается захватить для себя как можно больше колониальных владений, систематически интригует на Востоке и лихорадочно вооружается. Происходит реорганизация германской армии, Германия строит по четыре дредноута в год, что, в свою очередь, заставляет Англию усиленно состязаться в вопросах морского строительства.

В умах германских политиков-активистов, охотно и открыто, в печати, рассуждавших о надвигающейся войне, первой жертвой бронированного кулака должны были стать славянские народы и их главная покровительница Россия, а, одновременно, и Франция, которая была связана с нами военной конвенцией.

Конвенция эта, подписанная лишь в 1913 году, гласила: в случае, если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или Италии, Россия выставит все свои силы против Германии. И, наоборот, в случае нападения на Россию Австро-Венгрии, при поддержке Германии, — Франция выступает на стороне России. Гораздо сложнее обстояло дело с Англией. Россия не имела с ней определенной конвенции. И еще накануне войны никто не знал, скажет ли Англия да или нет. Следует подчеркнуть, что тройственный союз предусмотрел взаимную помощь давно, а соответствующая конвенция между Германией и Австро-Венгрией была подписана еще в 1909 году. По этому поводу Мольтке писал ген. Конраду:

«Надо предвидеть момент, когда монархия должна будет вторгнуться в Сербию. Это вызовет выступление России. В тот момент, когда Россия мобилизует свои силы, Германия сделает то же самое». Таким образом, позиции были заняты задолго до войны.

Германию и Австро-Венгрию в значительной степени ободряло то обстоятельство, что русско-японская война на долгие годы уничтожила военную мощь России, подорвав ее международный авторитет.

Ген. Деникин указывает, что положение нашего флота и нашей армии после войны с Японией было ужасающим. Не хватало кадровых офицеров, базисные склады были дезорганизованы. Достаточно напомнить, что запас патронов у нас не достигал тысячи штук на ружье, в то время как Германия не считала для себя достаточным трех тысяч патронов на ружье.

— До 1910 г. наша армия, — говорит ген. Деникин, — была беспомощной. И только в самые последние годы, реорганизация ее быстро пошла вперед. Но «большая программа», которая должна была усилить мощь армии, была утверждена только в марте 1914 года.

Короче говоря, к моменту войны Россия была не готова. Не было ни кадров, ни запасов. По вопросам военным не было единства мнения и в среде русской общественности. Правая общественность готова была пойти на большие жертвы по вооружению, Либеральная общественность противилась, «во имя всемирного братства народов и в осуждение воинствующего национализма...».

Для того, чтобы еще более уточнить аргументацию, ген. Деникин ставит три вопроса: 1) была ли русская армия достаточно сильна, чтобы защищаться?, 2) мог ли отказ России от вооружений предотвратить события на Балканах? и 3), даже при условии полной нейтрализации России, вплоть до гегемонии Германии в Европе, обеспечивалось ли свободное развитие России? На все три вопроса ген. Деникин отвечает отрицательно. Русское правительство хорошо знало свою беспомощность, и наша беспомощность особенно явственно проступала на фоне донесений от наших военных агентов на счет готовности к войне германских армии и флота.

В России настолько отчетливо сознавали наше незавидное положение, что директивы на первые дни войны предусматривали очищение десяти губерний и отвод армий на 200 верст, вглубь страны. Это был план пассивного сопротивления, в котором вся инициатива предоставлялась врагу. Другую картину представляла собою Германия. Там существовала директива — «решительное наступление». В нашем генеральном штабе, царил пессимизм, порождаемый неуверенностью в собственных силах.

При этих условиях происходит захват Австрией Боснии и Герцеговины. Для Сербии этот захват явился грозным пред-

знаменованием. За спиной Австрии чувствовался бронированный кулак Германии. Русское правительство, пытавшееся взять Сербию под свою защиту, должно было уступить. Фактически, — утверждает ген. Деникин, — ни одна из великих держав не хотела воевать из-за Сербии.

Только Австрия, которая жаждала уничтожения Сербии, хотела войны. 28 июня 1914 года грянул сараевский выстрел. Следствие установило непричастность сербского правительства к убийству эрцгерцога Франца-Фердинанда. Непричастна к нему и австрийская полиция, хотя странно и загадочно прозвучали слова Франца-Иосифа: «Я хотел изменить ход вещей, но судьба поставила все на свое место».

Австро-венгерское правительство в первую очередь осведомилось о намерениях Германии. Кайзер поспешил успокоить императора Франца-Иосифа: «Германия станет на вашу сторону даже в случае воины с Россией». Предоставив Австрии «карт-бланш», Кайзер отбыл на отдых в шхеры Северного моря. А, между тем, уже 7 июля в австро-венгерском совете министров было признано неизбежный вовлечение в войну Франции и России. 19 июля, еще до предъявления ультиматума Сербии, война была решена. 22 июля германское правительство, ознакомилось с полным текстом ультиматума и одобрило его. На следующий день унизительный ультиматум был предъявлен. Сербия передала свои судьбы в руки России. И еще раз Россия дала доказательства своего миролюбия: Сазонов советовал Белграду принять все пункты ультиматума, не нарушавшие суверенитета сербского государства. В этом духе и был составлен ответ. Сербское правительство приняло все пункты, за исключением того, который предусматривал участие австро-венгерских агентов вследствие на сербской территории; пункт этот противоречил сербскому уголовному уложению. Ответ был таков, что даже Вильгельм II сделал на полях доклада пометку: «Большой успех для Вены. Но сербский ответ исключает всякий

повод к войне». Кайзер ошибся — Австрия, во что бы то ни стало, хотела войны.

Ген. Деникин подробно излагает далее все последние попытки удовлетворить Австрию: новые выступления Сазонова, предложение Франции и Италии передать конфликт на рассмотрение четырех великих держав, попытка Грея, которую Берлин, обещая поддержать, и тайным образом провалил, и, наконец, личные усилия Императора Николая II. Все было тщетным: 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии.

В вопросе об ответственности за войну чрезвычайно важную роль играет и то, кто первый отдал приказ о всеобщей мобилизации. Германская мобилизационная машина была приведена в действие в полночь 30 июля. Указ о мобилизации был распубликован в Германии 31 июля в 12 часов 30 мин. дня. За несколько часов до получения известия о том, что Россия также мобилизуется. Как и когда было принято это решение в России?

25 июля в Царском Селе было решено провести частичную мобилизацию четырех военных округов, кроме пограничного, варшавского. А. И. Деникин считает это ошибкой. Частичная мобилизация давала против Австрии только 13 корпусов, вместо предусмотренных шестнадцати.

28 июля, получив известие об объявлении Австрией войны Сербии, Сазонов сообщил генеральному штабу свое мнение о необходимости подготовить всеобщую мобилизацию. Составлены были два проекта — мобилизации всеобщей и частичной. Утром 28 июля Государь подписал приказ об общей мобилизации, который пока держался в секрете. Вечером 30 Государь переменил решение и повелел производить только частичную мобилизацию. Смутил его текст последней телеграммы Вильгельма, который обещал повлиять на Австрию. Предложение Николая II передать конфликт на рассмотрение гаагского трибунала принято не было. С этого момента война стала неизбежной. 30 июля генеральный штаб

доложил Николаю II о необходимости всеобщей мобилизации: «Вы правы, — ответил Государь, — больше ничего не остается делать».

В ночь на 31-ое число (по новому стилю) были подняты все силы России. В полночь Германия предъявила ультиматум России и Франции. Несколько часов спустя началась война. Русское общественное мнение было единодушно в оценке событий. Война, навязанная России, вызвала великий патриотический подъем. В оценке событий одинаково сошлись и «Речь» и «Новое Время». В июльские дни было полное единение власти с народом.

Как она пришла

Перед началом войны я вернулся на каникулы из Франции и жил в крохотном местечке: не то селе, не то в рыбачьей деревушке, на озере Байкале, в Листвиничном.

Нас было трое: лесной ревизор, товарищ моего покойного отца, его красивая и юная дочь Таня, и я. Жили мы в доме лесничего.

Почта, приходила, но не аккуратно и газеты вообще не составляли чего-то существенного среди неописуемой красоты байкальского пейзажа.

Прямо перед нами, по той стороне, шли снежные вершины Гольцов.

Эти вершины плавились золотом на солнце, а, при закатах, были покрыты кровью. Их видно даже в Иркутске.

Над Байкалом висели по утрам туманы. Или священное озеро лежало ровными зеркалами, в летний зной, не шелохнувшись. Над озером-морем была опрокинута чаша чистого неба.

Вода была холодной, и о купанье нечего было думать. Но был по соседству лес, полный ароматов и летней манящей теплоты, была лодка, которая так волнующе зыбила на мертвых волнах странного и притягательного озера-моря.

И были ночи, которые казались еще прекраснее, значительнее, необыкновеннее от того, что им предшествовала моя жизнь в шумных столицах: Париж, Берлин, Варшава, Петербург, а, до того, Москва и студенческая и жизнь в Тулузе, во всем отличная от иркутской, сибирской, провинциальной жизни.

И, вот, тут-то именно, я и получил, по газете «Сибирь», известие о том, что гимназист Принцип (почему такая фамилия) убил эрцгерцога Франца-Фердинанда.

Я до сих пор помню, что, несмотря на преисполненность собственными романтическими переживаниями, несмотря на то, что, по тем временам, без аэропланов и радиосвязи, Евро-

па психологически представлялась чем-то бесконечно далеко отстоящим (12000 миль железнодорожного пути!) я инстинктивно ощутил, что случилось нечто большое, важное и страшное.

Я понял, что идиллия в Листвиничном дольше уже не может продолжаться, что нечто от прежней беспечности ушло вдруг сразу из нашей жизни, что надо ехать в город, где оставалась мать и младший брат.

Почему так казалось мне, я теперь не мог бы более подробно объяснить. Мы тогда не говорили так много о войне, как говорим о ней сейчас. И уж во всяком случае, мы себе тогда войну не представляли так ярко, так преувеличенно устрашающе рельефно в деталях, и жутком все охвате, как все мы ее представляем себе теперь. И, все-таки, инстинкт подсказал, что надвигается ужас.

Хотел ли я войны? — конечно нет! Зачем? Этот дикий вопрос просто не мог придти в голову.

Но еще в 1912 г, я думал, что из-за славян России придется воевать с немцами.

Что я тогда, студент из Европы, знал о готовности держав к войне? Почти ничего!

Проезжая через Германию во Францию, и, потом, обратно, через Германию из Франции в Россию, я покупал, как и все на вокзалах, брошюрки или открытки шовинистического жанра.

В Германии было много таких изданий, в которых северные департаменты Франции были вызывающе закрашены в одинаковый со всей Германией Цвет.

Но и во Франции патриоты не переставали говорить о том, что Эльзас-Лотарингия должна быть возвращена Франции и что там прусские юнкеры черт знает, что делают с населением.

Во всяком случае, брутальность политики германской дипломатии выпирала куда ярче всяких прочих их, как теперь модно выражаться, империалистических вожделений.

Но в России о войне серьезно и тревожно заговорили только после Сараевского убийства.

И вот, сейчас, в июле 1935 года, исполняется как раз двадцать один год, как я решил нарушить свой отдых в Листвиничном, на берегу Байкала и в срочном порядке возвратиться в летний, душный и горячий Иркутск.

Здесь я уже вовлекся с головою в водоворот политических событий, как их отражала местная печать. Иркутские газеты меня мало теперь удовлетворяли.

Через четыре, пять дней стали регулярно поступать столичные газеты, с описанием политических событий, нараставших в Европе, и я особенно внимательно читал, помню, «Русское Слово» из Москвы.

Мысль, что учение мое во Франции обрывается, не особенно меня беспокоила. У нас тогда у всех была своя Россия, где можно было учиться когда и где угодно в университетах, и чему угодно. Больше беспокоила мысль, что событий предотвратить не удастся. И это вносило много нового и тревожного и в личную жизнь.

Конечно, я думал и о том, что сразу же буду мобилизован, так как мне шел 21-ый год. Первый досрочный призыв и я в него попадаю!

У меня было много приятелей в Иркутском военном училище, которое только недавно перед тем перестало быть Юнкерским. И у меня были знакомые там, даже в преподавательском персонале.

Город, между тем, как и вся Россия, все больше вбирался, всасывался в стихию нарастания мировых событий.

Ген. А. И. Деникин совершенно прав: никаких сомнений в том, что Россия действует так, как она при создавшихся обстоятельствах должна была действовать ни у кого тогда не было.

На глазах у всех совершалось чудо. Рушилась давняя стена непонимания и непреоборимого отчуждения между властью

чиновничьего Петербурга и остальной Россией. Забывались обиды, испарялось раздражение.

Нарастало то самое взаимное понимание и сочувствие населения поведению верховной власти, которое, в день объявления войны, вылилось в давно небывалое и неслыханное, яркое, действительное и полное, единение власти с народом.

Теперь уже я не припомню в подробностях, в какой последовательности к нам поступали известия, но, кажется, манифестации начались еще до официального объявления войны. Манифестации были преисполнены подъема.

Одну, большую и красивую, я захватил между зданием Городского Театра и домом, в котором жил командующий войсками. Реяли над толпою трехцветные флаги. Несли царские портреты. Плакатов еще, кажется, не было.

Манифестировали перед зданием французского консула, перед домом бельгийского консула, каковым являлся добродушный поляк прис. пов. М. М. Стравинский. Но больше всего манифестировали, конечно, в адрес Сербии.

И, рядом с возгласами: «Да здравствует Россия», какой-то очень высокий молодой человек, про которого в толпе мне сказали, что он Сила Белоголовый, кричал:

— Да здравствует Сибирь!

Но это вряд ли тогда, по тогдашним настроениям, был признак определенно подчеркиваемого сепаратизма, всегда, впрочем, тлевшего на поверхности мысли известной части сибирской интеллигенции. Но, я думаю, что странно-высокий молодой господин кричал свое: — «Да здравствует Сибирь» для того, чтобы показать, что и Сибирь тоже сочувствует общему желанию России проучить зарвавшихся инициаторов европейского пожара (впрочем, тогда, мы таким языком еще не выражались).

Когда война была объявлена, под вечер только пришла об этом телеграмма, мы так были все готовы к этому и так уже устали от участия в хождениях и от разговоров о налетевших

событиях, что восприняли самое главное известие, как должное. Спокойнее, чем сами ожидали.

Каждый думал тогда вероятно тоже, что и я — что Россия не подстегивала войну, что Россия уступала, пока можно было уступать, что настроение общества было за то, чтобы поддержать престиж России; тут все сразу стали великодержавными. И если бы наше тогдашнее правительство пошло на дальнейшие уступки перед Германией, то его могли и смести в мгновение ока. А если бы оно, все-таки, вопреки всеобщему негодованию, которое тогда запылало бы, и удержалось у власти штыками полиции и жандармов, то не было бы в то время другого такого непопулярного правительства на свете...

Во всяком случае, все сознательные элементы России в эти дни стояли плечом к плечу, от края и до края России, сплоченные в едином порыве показать Германии, что Россия не позволит над собою издеваться, и что действия правительства поддержаны и одобрены всем народом.

Как то вдруг, опять и мгновенно, стал очень популярен Государь. И те, кто раньше не смотрели на его, всюду висевшие как обязательная принадлежность присутственных мест, портреты теперь, охотно и бережно, эти портреты несли по улицам.

Дружескими стали отношения у публики на улицах и с полицейскими чинами — тоже как-то очень просто эти два враждовавших стана помирились. И даже с жандармами лучше стали отношения. Все стали вдруг тем, чем должны всегда были бы быть, просто — русскими. А военные выросли в героев. Их останавливали на улицах, чтобы, так или иначе, выразить им знаки своего внимания.

Потом, вот еще что меня поразило от тех дней. Стали закрывать германские предприятия и многие из тех, кого мы считали «совсем русскими», на поверку оказались немцами или австрийцами.

На Амурской улице, в здании какого-то городского училища с садиком, за каменным, не сплошным забором, устроили импровизированный лагерь для «военнопленных». В Иркутске и военнопленные! Мне это тогда сразу показалось небольшим преувеличением. Я ходил смотреть на этот «лагерь». Там было несколько десятков мужчин, явно иностранного вида. Они чувствовали себя неловко! Читали книжки в заграничных переплетах и гуляли по садику.

Мне было даже жалко этих мирных людей в штатском, которых вдруг лишили свободы. Но я утешал себя мыслью, что «а ля гэрр комм а ля гэрр».

Так для меня началась война 1914 года, по старому стилю в июле месяце, в далеком от фронтов Иркутске.

Начало начал

Война на германском фронте закончилась Брестским миром. По этому миру под контроль Германии переходила Украина, и даже часть Кавказа и, кроме того, Россия обязывалась уплатить Германии контрибуцию. Не довольствуясь этим, немцы, при помощи того же мира, тотчас названного в России «похабным», устанавливали тарифы, которые задушили бы нашу промышленность. Немцы осуществляли давний свой план овладения Россией, который, по всей вероятности, неискореним из их сознания: — в книге Адольфа Гитлера «Моя борьба» по вопросу об экспансии на Восток высказываются те же самые мысли, которые легли в основу наиболее тягостных и позорных пунктов договора, подписанного большевиками и немцами в Брест-Литовске.

Брестский мир восстановил против большевиков всю сознательную и честно мыслившую часть России. Конечно, крестьянство осталось довольно безразличным, в своей массе, к условиям этого мира, а, в подавляющем большинстве, и не знало ничего толком о нем. Крестьянство в России занято было захватом земли; сибирское же крестьянство и подавно было равнодушно, так как аграрной революции пока что в Сибири не наступило. Старожильческое крестьянство, в большинстве зажиточное и степенное, было против новшеств, но ничего не имело против того, что, с началом революции, деревня как бы была оставлена городом временно в покое; новоселы же, малоземельные, безлошадные и просто деревенские бедняки не получили еще к лету 18 года надлежащего руководства из революционного центра, не знали способов, как им действовать против «кулаков». В деревнях появились солдаты с фронта, появились опять у себя в родных селах и хуторах ополченцы, ратники, короче, люди сверхсрочных призывов, которых за последние два года войны держали в казармах и, теперь, отпустили «на волю», но молодежь колобродила больше на словах, от слов не перехо-

дя к делу. Люди же постарше были просто рады, что они вновь оказались среди своих. Словом, сибирская деревня к моменту свержения советской власти в Сибири в 1918 году, большевизмом как следует, еще не была задета, и никаких особенных неприятностей от революции не испытала.

В городах было положение другое: тут были и рабочие, которые сразу стали сознательно гнуть влево и ремесленный элемент, мещанство и всяческие Представители полуинтеллигенции, которые, быстро, хлебнув от чаши с вином бунта, начинали стремительно пьянеть властью и те солдаты из «сознательных», кто остались по своему желанию в городах творить новую жизнь, и, наконец, германские к австрийские военнопленные, которые в известном числе влились в движение за поддержку советов, латыши, а кое-где даже и отдельные представители «красы и гордости революции» — матросы из Кронштадта. В большинстве в Сибири советские деятели первого периода, публика была серая, но желание править у них было весьма настойчивым, была и дисциплина в их рядах, была и уверенность в том, что «широкие массы» с ними и за них, а Ленин всем царям царь.

Буржуазия (купцы, кое-какие промышленники, высшее чиновничество), которую пока не очень трогали, хоронились по своим домам и старались не попадаться на глаза новой власти. Активными элементами против большевиков были, на поверхности, эсеры, которые в Сибири стали на защиту областничества, а в подполье офицерство, юнкера, часть студенчества, гимназисты старших классов, готовившие, как умели, свержение Советов.

Так, силами юнкеров, молодого офицерства, студентов и гимназистов и было проведено героическое восстание в Иркутске, в конце 1917 года. А, потом, и в ряде других городов военная молодежь не сидела, сложа руки — смельчаки забирались в склады оружия, овладевали винтовками, пулеметами, печатали прокламации против большевиков.

В мою задачу не входит писать историю белой борьбы в Сибири, тем более, что она давно описана во всех подробностях. Но в тех общих впечатлениях, которые хранятся в памяти от даго периода первых месяцев после установления Советской власти в Сибири до выступления чего и сформирования Сибирского правительства, мне особенно хочется подчеркнуть, что активная роль принадлежала молодежи и, притом, главным образом, военной молодежи, сознательным элементам младших поколений, тогда как старшие поколения и, в особенности, бюрократия и купечество предоставили себя пассивно ходу стихийно развертывавшихся революционных событий.

С самого начала 1918 года мы знали (не все, конечно, но те, кому доверяли), что восстание готовится, что существуют военные организации, что установлена связь с чехами, что державы не собираются оставаться равнодушными к событиям в России.

Хорошо помню день, кажется в марте, когда телеграф сообщил о высадке японского десанта во Владивостоке: в университетском коридоре мы беседовали по этому поводу с М. П. Головачевым, только что тогда занявшим кафедру международного права. Как не извращала, как не скрывала от нас советская печать выступление в Даурии атамана Семенова, но и об этом передавалось, во всех подробностях, из уст в уста. Когда, на обще-студенческом митинге, в январе 1918 года, мы выбирали второго, добавочного представителя от студентов в Областную Думу, мы сознавали, что на карту ставится жизнь этого человека: первый студенческий депутат, Беляков, уже перешел на нелегальное положение.

Но вся эта подготовительная работа могла надолго еще затянуться, могла вообще кончиться провалом, так как большевики становились все более бдительными и все решительнее вводили меры преследования своих врагов, если бы не выступили нам на подмогу чехи. Чехов, от Самары до Влади-

востока, (они двигались кружным путем на фрацузский фронт, с согласия Троцкого) мы считали тогда до сорока тысяч. Западное их крыло находилось под командой Чечека, от Новониколаевска до Иркутска во главе чешских эшелонов стоял Гайда, а восточным сектором руководил ген. М. К. Дитерихс.

Меня чешское восстание захватило в Иркутске. Про Гайду тогда рассказывали, что он чуть не в одиночку захватил в Новониколаевске совдеп. Красные, однако, оказывали от Самары до Иркутска упорное сопротивление.

В Омске во главе контрреволюционной воинской организации стоял полк. Иванов-Ринов. Он не был человеком политически гибким, не проявил в момент восстания особенной распорядительности и, если бы не появление молодого, талантливого А. Н. Гришина-Алмазова, то сформирование новой русской власти, центральной для Западной Сибири, могло бы значительно осложниться.

Сибирское движение прошло под бело-зеленым флагом и хотя, впоследствии, и этот флаг и самая областническая идея, были подвергнуты, и справа и слева, всяческому заушению, никто не может отрицать факта, что, по началу, бело-зеленый флаг был символом освобождения Сибири от советской тирании и вызывал энтузиазм у той молодежи, которая подняла знамя восстания.

Гришин-Алмазов, впоследствии обратившим на себя внимание и на Юге России, и так нелепо погибший в июне 1919 года, (при попытке прорваться из Екатеринодара, от Деникина, в Омск через красный фронт), у берегов Каспия, о чем подробно нам рассказал, следовавший непосредственно за ним, М. С. Лембич, был больше других военных подготовлен к роли воссоздателя воинской силы в Сибири, в противовес красной армии.

В большую заслугу генералу Гришину-Алмазову историк поставит, что он прежде всего чувствовал момент и умел разбираться в обстановке: он сознательно отказался от

возвращения воинским чинам пагонов и считал невозможным восстанавливать орденский статут, так как и погоны и ордена сразу отдавали молодую воинскую силу в руки военной бюрократии, не только ненужной в условиях гражданской войны, но и опасной.

В Омске, после свержения большевиков, приступает к работе Западносибирский комиссариат, при нем создаются отделы юстиции, путей сообщения, военный, финансов и т. д. Из личного состава тех, кто оказался во главе отделов, создается впоследствии Административный Совет, Западносибирский комиссариат сменяется Сибирским правительством, партийные эсеры и непримиримые областники вроде Якушева вступают в конфликт с людьми более умеренных и деловых устремлений — все это хорошо известно по тем данным, которые были опубликованы вскоре после гибели белого движения в Сибири.

Важно подчеркнуть, что движение, приведшее к освобождению Сибири от советской власти в 1918 году, было осуществлено при содействии чехов и что те же чехи впоследствии, в конце 1919 года, сыграли решающую роль в ликвидации белой власти, словно из поговорки: «я тебя породил, я и убью».

Но провал белого движения не приходится объяснять, конечно, только уклончивой политикой иностранцев — основная причина неудачи глубоко заложена была в соотношении социальных сил, была предопределена общим ходом развертывания стихийного революционного процесса. Немалую роль в катастрофе белого движения сыграли и ошибки тех, кто стоял во главе его.

Дальнейшее наше изложение, на основании указываемых фактов и суммирования личных впечатлений, пытается показать со всей возможной объективностью, в чем была сила и где коренилась слабость белого Омска.

Только история отдаленного будущего подведет окончательный итог борьбе за Россию. На нашу долю выпадает одна довольно скромная задача — без ложного стыда признаться в своих ошибках и вместе с тем воздать должное тем, кто мужественно приняли на свои плечи борьбу во имя России и принесли себя в жертву этой борьбе!

«Своеобразная аналогия»

Знакомясь, в начале октября 1934 года, по телеграммам, с подробностями событий в Испании, я лишний раз должен был придти к заключению, что ничто не ново под луною!

Бывший премьер-министр Испанской республики социалист дон Мануэль Азана решил поднять в Каталонии восстание против центрального правительства, которое сам раньше возглавлял и, в котором восторжествовала идея коалиции, а председателей совета министров стал человек более умеренных убеждений, Лерру.

Каталония была объявлена независимой, появились плакаты с надписью «Долой Лерру», во всех стратегических пунктах Барселоны были установлены пулеметы, по городу стали сновать грузовики с пулеметами, частные автомобили поспешно скрылись с встревоженных перекрестков, магазины закрыли свои двери, торговали только продовольственные лавки, центральной власти пришлось двинуть регулярные войска против сепаратистов, началась бомбардировка дворца Генералидад, в котором укрывался штаб мятежников, и они, в конце концов, были принуждены сдаться.

Члены кабинета в Мадриде провели всю ночь в здании министерства внутренних дел, в ожидании вестей из Барселоны и когда пришло сообщение, что сопротивление сепаратистов сломлено, министры, в ажитации, вскочили со своих кресел, с возгласами: «Да здравствует Испания!»

Теперь перенесемся ровно на семнадцать лет назад, в Сибирь, в город Омск, где, после свержения, при поддержке чехословаков, советской власти, было, как мы знаем, создано Сибирское правительство.

Верховная государственная власть в Сибири принадлежала совету министров Временного Сибирского Правительства, который, к моменту описываемых событий, 20-му сентября 1918 года, состоял из шести лиц, за девять месяцев до того избранных на тайном совещании членов Областной Думы, в Томске.

Эти шесть лиц были следующие: П. В. Вологодский, И. И. Серебренников, И. А. Михайлов, Б. А. Шатилов, Г. Б. Патушинский и В. М. Крутовский.

Из этих шести лиц председатель правительства, П. В. Вологодский находился на Дальнем Востоке, где должен был прийти к соглашению с теми, кто там возглавлял анти-советскую власть: атаманом Семеновым, деловым кабинетом Д. Л. Хор-вата и второй половиной Сибирского правительства, представленной с.-р. Дербером.

И. И. Серебренников находился в Уфе, в составе делегации на Государственном Совещании, которое как раз в эти дни избирало «всероссийскую власть», получившую впоследствии наименование Директории, во главе с Н. Д. Авксен-тьевым. М. Б. Шатилов, заложник эсеров в Сибирском правительстве, путаник и вздыхатель, находился в Томске, под крылышком любезной ему эсеровской Областной Думы, враждебно настроенной к правительству, ей же порожденному, Г. Б. Патушинский, сибирская вариация Керенского, (даже по профессии они были двояшками-адвокатами), только что поспешно и демонстративно отказался от своего портфеля министра юстиции.

Наконец, Крутовский, неоднократно заявлявший о своем уходе с министерского поста, так как сам хотел играть первую скрипку, проживал в Красноярске.

Таким образом, из всего состава совета министров Сибирского правительства в Омске на лицо оставался лишь один министр финансов И. А. Михайлов.

Предвидя такое положение дел, Совет министров еще 7-го сентября, будучи в законном составе, издал постановление о передаче прав Совета министров, по разрешению неотложных вопросов, на время отсутствия большинства его членов, Административному Совету, учрежденному 24 августаи состоящему из управляющих министерствами и товарищей министров, под председательством министра снабжения И. И. Серебренникова.

Но, в виду отъезда И. И. Серебренникова в Уфу, исполнение обязанностей председателя было передано И. А. Михайлову.

19 сентября в Омск прибыли министр туземных дел М. Б. Шатилов, министр внутренних дел В. М. Крутовской и председатель сибирской Областной Думы, сугубо партийный эсер, И. А. Якушев.

В состоявшемся 20 сентября заседании Совета министров, в котором участвовали В. М. Крутовский, И. А. Михайлов и М. В. Шатилов, министры Крутовский и Шатилов высказались определенно против направления деятельности/Административного Совета и намеревались, вопреки состоявшемуся ранее решению совета министров, ввести в состав правительства, в качестве полноправного министра, А. Е. Новоселова, довольно известного в Сибири литератора, человека эсеровских убеждений, только что перед тем вернувшегося в Западную Сибирь с Дальнего Востока.

В ночь на 21-е сентября В. М. Крутовский, М. Б. Шатилов, И. А. Якушев и, прибывший с ними «гражданин А. Е. Новоселов», как его именует официальное правительственное сообщение, были арестованы по постановлению уполномоченного командующего армией по охране порядка и спокойствия, начальника гарнизона г. Омска полковника Волкова, по обвинению в том, что этими лицами замышлено и преступлено к совершению государственного переворота, направленного «против государства Российского и Временного Сибирского Правительства».

Арест, как заявляло правительственное коммюнике, опубликованное после событий, был произведен без ведома не только заместителя Председателя Совета Министров и Председателя Административного Совета И. А. Михайлова и самого Административного Совета, но и без ведома временно управляющего военным министерством ген. — майора Матковского.

В тот же день от В. М. Крутовского и М. Б. Шатилова были получены прошения об отставке.

В 7 часов вечера 21-го сентября, непосредственно перед назначенным в тот день заседанием, были получены в здании Административного Совета, заместителей председателя Совета Министров и временно управляющим военным ведомством, от начальника гарнизона донесения о произведенных арестах.

Административный совет, обсудив эти донесения, единогласно постановил: немедленно освободить из-под стражи В. М. Крутовского, М. Б. Шатилова и И. А. Якушева, а о действиях начальника гарнизона полк. Волкова сообщить командующему армией.

«Вследствие, же, — как в трогательно макиавеллевском стиле гласило коммюнике, — направления дела начальником гарнизона об аресте Новоселова прокурору Омской судебной палаты, вопрос об освобождении Новоселова был признан подлежащим обсуждению названного прокурора».

Далее цитируем правительственное сообщение полностью:

«Прошения В. М. Крутовского и М. Б» Шатилова об отставке были рассмотрены Административным Советом и условно-удовлетворены, с направлением дела об окончательном увольнении их, а равно и министра Г. Б. Патушинского, в Совет министров, по принадлежности.

«Независимо от всего изложенного, в том же заседании Административного Совета было вынесено постановление о перерыве занятий Сибирской Областной Думы и ее комиссий, вследствие несоблюдения ею установленного Советом министров и президиумом Думы соглашения о программе занятий Думы и крайней неполноты состава Думы, не пополненной до сих пор представителями целого ряда групп населения, согласно принятому самой Думой закону о пополнении состава Думы. Постановление о перерыве занятий Думы принято Административным Советом на точном

основании постановления Временного Сибирского Правительства от 7-го сентября, которым Административному Совету предоставлено право роспуска Думы, причем Административный Совет, объявляя перерыв занятий Думы, передал установление срока возобновления занятий Совету министров. Перерыв занятий Сибирской Областной Думы находится точно также в полном согласии с сообщением Председателя Совета министров П. В. Вологодского от 16-го сентября, уведомившего по прямому проводу Административный Совет о возможности роспуска Думы.

В заседании Административного Совета 23 сентября были доложены результаты экстренного расследования по поводу убийства конвоирами гражданина Новоселова. В этом же заседании товарищ министра внутренних дел А. А. Грацианов, посетивший В. М. Крутовского и М. Б. Шатилова по их освобождении, сообщил, что прошения об отставке, по объяснению В. М. Крутовского, им и Шатиловым были поданы под угрозой расстрела; далее, А. А. Грацианов, со слов того же Крутовского, сообщил, что Крутовскому и Шатилову, по освобождении их, было предложено лицами, их арестовавшими, требование покинуть г. Омск в течение 24 часов. Заявление В. М. Крутовского и М. Б. Шатилова о вынужденной подаче ими прошений об отставке и вынужденном их отъезде, а также невыясненность обстоятельств убийства А. Е. Новоселова, вызвали единодушное решение Административного Совета о немедленном образовании Верховной следственной комиссии из трех членов Административного Совета под председательством управляющего министерством торговли и промышленности проф. П. П. Гудкова, в составе: временно управляющего министерством народного просвещения проф. В. Н. Саввина, исп. об управляющего делами совета министров, представителя военного ведомства, представителей военного и гражданского прокурорского надзора и следственной власти.

Наряду с этим, заместитель Председателя Совета министров И. А. Михайлов обратился по телеграфу к командующему армией, в г. Уфу, с категорическим предложением об устранении от должности начальника гарнизона города Омска и назначении расследования его действий, вследствие чего командующим армией и было сделано распоряжение об устранении от должности полк. Волкова, и его аресте.

Утром 24 сентября начальником военного контроля полковником Зайчеком был арестован товарищ министра внутренних дел Грацианов, и была сделана попытка арестовать заместителя Председателя Совета министров, министра финансов И. А. Михайлова.

По докладу полк. Зайчека, арест Грацианова и попытка ареста Михайлова произведены им по телеграфному распоряжению из Челябинска от чешского высшего начальства.

В течение суток со времени ареста Грацианова, Административный Совет установил: во 1-х, что Верховная Всероссийская власть, сформированная уже к этому времени, не делала распоряжений ни об аресте И. А. Михайлова, ни об аресте А. А. Грацианова, и 25-го сентября, утром, товарищ министра внутренних дел А. А. Грацианов из-под ареста был освобожден, и не осуществлялись уже более попытки к аресту Михайлова; и, во 2-х, что Верховная Всероссийская власть постановила вернуть к деятельности министров В. М. Крутовского, и М. Б. Шатилова и прервать занятия Сибирской Думы.

25 сентября, в связи с изложенными выше событиями, от Председателя Совета министров Временного Сибирского Правительства из Владивостока получена на имя министра финансов И. А. Михайлова телеграмма с. одобрением действий и решений Административного Совета и с указанием на необходимость производства расследования о действиях начальника гарнизона.

В вечернем заседании Административного Совета 26 сентября было постановлено пополнить состав Верховной

комиссии одним представителем чехословацких войск и одним представителем от омского совета присяжных поверенных.

Я нарочно, почти без комментарий, привожу изложение хода событий этого бурного эпизода из жизни Сибирского правительства, в официальной интерпретации, так как именно под этой внешностью осторожного «сообщения для народа» теперь, через семнадцать лет, в ярких образах возникают все перипетии этой драмы, по своему напряжению и пестроте, ни чуть не уступающие испанским событиям октября 1934 года.

Только всему остальному миру в те времена (сентябрь-октябрь 1918 года) когда заканчивалась, с небывалым еще последним напряжением европейская война и все в Европе и в Америке были заняты делами Западного фронта союзников против Германии — было некогда следить за омскими событиями с тем вниманием, какое недавно уделялось всем миром событиям в Испании, а, до того, событиям в крохотной Австрии, где жертвою путча пал «карманный Наполеон», канцлер Дольфус.

Но все относительно в мире и Сибирь, даже одна только Западная Сибирь, в несколько раз территориально больше Испании. А, с развитием воздухоплавания, после того, как, прежде никому ненужная, Аляска объявлена теперь «ключом к миру на Тихом Океане», Сибирь в мировой политической обстановке может играть роль куда более значительную, чем Испания.

И еще одна деталь — как не драматичен эпизод, вышеизложенный, он обошелся всего одной жертвой, несчастным эсером, литератором Новоселовым, тогда как в Испании в октябре 1934 года, во имя тех же целей — восстановления престижа центральной власти — лились целые потоки теплой человеческой крови.

На пути в столицу

Когда во Владивосток в, сентябре 1918 года прибыли, делегацией из Омска, П. В. Вологодский, премьер Сибирского Правительства, проф. Г. Г. Тельберг, включенный в делегацию не столько по должности старшего юрисконсульта при совете министров, сколько потому, что влиятельный Г. К. Гинс хотел сделать его редактором «Правительственного Вестника», Головачев, Мстислав Петрович и другие, все публика, которую я хорошо знал по Томску, меня, оказавшегося в Хабаровске, очень подмывало бросить службу и поспешить во Владивосток, на горячую работу.

Но «бросить службу» было не так легко. Учебный год уже начался; я состоял в преподавателях Хабаровского каметского корпуса, коммерческого училища и 2-ой женской гимназии, читая, сверх всего, лекции по политической экономии в народном университете.

Через нашего общего друга проф. Н. Я Новомбергского, декана юридического факультета, у нас был сговор с проф. Головачевым о совместной работе, в случае переворота в Сибирь. Он тогда был товарищем министра иностранных дел, при, скорее номинальном, министре Вологодском, и вел всю техническую работу. Но педагогическая работа затягивает. Как бросить классы в трех школах сразу. «Взялся за гуж...» Я порыв свой ограничил тем, что опубликовал ряд статей и отправил сановникам-друзьям письма.

Но вот в октябре, после избрания на Уфимском государственном совещании всероссийской директории, во главе с Н. Д. Авксентьевым, мужчиной речистым и франтоватым, из Омска пришла мне телеграмма, а потом, в подтверждение ее, и номер «Правительственного Вестника»:

— «Назначаетесь начальником отделения департамента по делам печати».

Я знал только одно, что этот департамент находится в ведении проф. Новомбергского, который в составе российского правительства стал товарищем министра внутренних дел. Отказываться или затягивать отъезд не приходилось. К середине ноября, как только удалось разделаться со школами, я был в Харбине.

Здесь мне было приказано задержаться, впредь до новых инструкций. Харбин той поры представлял собою любопытную, впоследствии уже неповторявшуюся, картину. Правительство ген. Хорвата, «деловой кабинет», только что перед тем вошло в соглашение с делегацией Вологодского, о слиянии. Д. Л. Хорват признал и уфимскую директорию, как до того, признавал Временное Правительство в Петербурге, движимый единственным желанием сберечь для России то огромное национальное богатство, которое ему было вверено, буквально с незапамятных времен, законной всероссийской властью в Маньчжурии.

Члены «делового кабинета» продолжали еще играть роль, особенно Глухарев, шли совещания в Харбине, шли совещания в Пекине и совещания во Владивостоке. Город был переполнен офицерами, из тех, которые не спешили «подаваться» на фронт и, вообще, хотели осмотреться, где же, в конце концов, создается настоящий белый центр. В городе было много и штатских, понаехавших в Харбин из России, бывших чиновников из разных городов и бывших дельцов, которые тоже унюхивали, толкаясь по коридорам управления дороги, ситуацию и соображали, куда им двинуться: в Омск, претендующий на великодержавность, в Читу, где крепло японское влияние, во Владивосток, где развивались флаги всех союзных нам держав или, пока не иссякли средства, выжидать в Харбине, где все так сытно, тихо, безопасно и где сражения происходят, главным образом, за рюмкой водки в ресторанах и за карточными столами в клубной «детской». Кроме русских искателей капризной в революцию

фортуны, только что переставших подпирать местное правительство и, вот-вот, опять собиравшихся чем-то и кем-то «править», в Харбине этой эпохи было много иностранцев, разных форм офицеров, американских инженеров в военной форме, присланных в изобилии для помощи русским железным дорогам, и застрявших в Харбине; корреспондентов и каких-то шикарно-одетых дам, явно столичного пошиба, вообще публики, которая всегда слетается, как воронье, в безопасный тыл войны, где открыты возможности: головокружительной карьеры, легкой наживы, веселых нравов и прибыльного ничегонеделания.

Когда я попал, помню, в харбинское Железнодорожное собрание, на оперетку, я думал, осматривая эту нарядную, надушенную, преисполненную чувством собственного достоинства, толпу, что между ними и стихией революции, которая сжигала на своем огне Россию, нет ничего общего.

Штабные военные в больших чинах, полковники и генералы, с малиновым звоном шпор, в элегантных френчах, железнодорожные верхи в смокингах, или, по российскому обычаю, в визитках, дамы в подчеркнуто модных туалетах и обильных бриллиантах, упитанные харбинские обыватели из служилых кадров Ка-Ве-же-де, учащиеся старших классов, хорошенькие гимназистки и «коммерсант точки» в формах, сохранявших старорежимную опрятность, все это было так непохоже на то, что я видел, на протяжении всего тогдашнего суматошного 1918 года в Томске, в Иркутске, Чите и Хабаровске.

Пели на сцене хорошо, кормили в буфете Железнодорожного собрания еще лучше, и все кругом свидетельствовало о том, что всероссийская революция и только что оборвавшаяся борьба всего мира против Германии, — это одно, а утробный, благополучный, спокойный и милый Харбин, столица счастливой «Хорватии», — совсем другое.

Встретил я там тогда многих знакомых из Владивостока, звали туда, через другие знакомства получил я, почему-то вдруг, предложение поступить на хорошую службу в Т. Д. Чурин и Ко, тут же кто-то из прежних товарищей по гимназическим годам, горячо мне советовал «плюнуть на Омск и ехать к Семенову», но я стоял твердо на своем: снялся в Хабаровске с места в направлении на Омск и должен быть в Омске.

Телеграммы об аресте директории, о вручении власти адмиралу А. В. Колчаку никого как будто в Харбине особенно не поразили. Правда, в некоторых сферах и по ресторанам ставился вопрос:

— Почему Колчак, а не Хорват?

Но Д. Л. Хорват быстро признал и адмирала Колчака, а я получил из Омска по телеграфу приказ явиться к военному министру ген. Н. А. Степанову, который только что прибыл в Харбин из Японии и, вместе с ним, следовать в новую столицу власти, именовавшей себя, подчеркнуто всероссийской.

Дело было под вечер и на Цицикарской, где жил омский «военмин», только что запорошенной свежим снежком, не было ни души, когда я двинулся от Степанова к себе домой, зная точно, когда мы едем, кого надо перед отъездом повидать, что сделать, какие бумаги закончить. Мне не было жаль бросить Харбин. Разве из этого беспечального города можно служить России в дни ее великих потрясений? Но я знал заранее, что снова с головой ухожу, кидаюсь опять в самую гущу политики и что пока из этой гущи не вынырну, частной жизни не будет, а в то, что со мною случиться, думал я, заглядывать не надо. Кисмет!

Мы уезжали из Харбина торжественно, целым поездом: «поезд военного министра». Ген. Степанов, очень суматошный и очень милый человек, уже немолодой и переучившийся за свою долгую офицерскую жизнь во всех возможных военных школах России, брал с собой в Омск начальника

главного штаба и помощника военного министра ген. В. Г. Марковского, оба следовали с женами; со мной в просторном купе вагона первого класса поместился молодой капитан Петров, с полукитайским желтым лицом при орлином носе, очень высокий и сильный, который детски трогательно обожал адмирала Колчака, в адъютантах у которого служил, когда адмирал, пытался формировать пехотные части в Харбине, до своего отъезда в Шанхай и, дальше, по пути в Месопотамию.

Ехало с нами в специальной поезде много других офицеров: полковники, подполковники, капитаны, все еще в старых царских чинах, в большинстве кадровые, которых Степанов и Марковский везли в свое министерство и главный штаб или соглашались доставить в тот или иной пункт, по месту прикомандирования.

У меня создалось впечатление, что этот генеральский поезд нарочно был укомплектован солидными офицерами, чтобы с нами ничего в Чите не посмели сделать. Кроме того, мы выждали еще, когда в Читу прибудет Жанен, что также служило гарантией на случай самоуправства. Чита как раз вела в эти дни телеграфную войну с державным Омском.

Оправданный судом, свергатель директории полк. Волков был, к общему удивлению, произведен в генерал-майоры и, пытался или делал вид, что пытался выполнить знаменитый тогда приказ № 61 верховного правителя и верховного главнокомандующего адмирала Колчака в адрес непокоренной Читы. Вот он, этот исторический документ.

Параграф 1-й: Командующий 5-м отдельным приамурским армейским корпусом полковник Семенов за неповиновение, нарушение телеграфной связи и сообщений в тылу армии, что является актом государственной измены, отрешается от командования 5-м корпусом и смещается со всех должностей, им занимаемых.

Параграф 2-й: Генерал-майору Волкову, Сибирского казачьего войска, подчиняю 4-й и 5-й корпусные районы во всех отношениях на правах командующего отдельной армией, с присвоением прав генерал-губернатора, с непосредственным мне подчинением.

Параграф 3-й: Приказываю генерал-майору Волкову привести в повиновение всех неповинующихся Верховной власти, действуя по законам военного времени».

Ат. Семенов этого приказа не испугался. И, вскоре после его опубликования, мы, специальный поезд военного министра, следовавший в Омск, приближаясь к Чите совсем были уверены, что наш паровоз отцепят, а нас поставят на запасный путь, в тупик, впредь до выяснения ситуации.

Впоследствии, мы не раз обсуждали, на эмигрантских досугах, с Г. М. Семеновым этот приказ и его в тот момент позицию, и я всякий раз приходил к заключению, что сговор был возможен и что Омск напрасно поторопился, не учтя всех сил и противоречивых влияний, действовавших на Дальнем Востоке и, слишком полагался на силу слов, терявших половину своей убедительности, когда их передавали депешами в лентах, плохо выстуканных, не без труда разбираемых слов.

Ничего с нами Чита не сделала! Простояли мы там с час. Один паровоз заменили другим, генерал Степанов переговорил по телефону с генералом Жаненом и мы отправились дальше. Двигались не спеша, так как попутно везде, в местах скопления частей, производился инспекторский смотр.

Питались мы самым скудным образом в станционных буфетах, вместо электричества горели в купе стеариновые свечи, паровое отопление временами совсем не действовало, в уборной вместо раковины умывальника было пустое место и вода из крана лилась прямо на обитый жестью пол.

То впереди нас, то в тылу вспыхивали на железнодорожных станциях восстания или появлялись ни полотне парти-

заны, так что приходилось останавливаться, иногда на полусуток, чтобы дождаться сведений от очередного карательного отряда, что положение восстановлено, можно следовать дальше.

Особенно тревожным было при нас положение под Иркутском, на соседних Черемховских копях. Впереди нас шел броневик. Чехи тогда были расквартированы еще не везде. Большинство чехо-войск находилось по близости к фронту на Урале, некоторые части даже еще сражались. Там, где стояли чехи, опасности было меньше, но беспорядка больше, так как чехи действовали сами по себе и часто вопреки распоряжениям русских воинских и железнодорожных властей.

А тут еще, когда мы уже оставили Иркутск и проследовали через Красноярск, на путях к ст. Тайга и Томску, до нас дошли, по прямому проводу, вести о подробностях восстания в Омске, случившегося 22 декабря, когда агенты большевиков подняли рабочих в пригородном поселке Куломзино и, одновременно, ловким трюком, освободили арестованных из областной тюрьмы. Восстание было сурово подавлено, но были и напрасные жертвы: члены Учредительного Собрания Фомин и Девятов, редактор Маевский из Челябинска и др. Чехи со мною об этом в Ново-Николаевске говорили очень резко, осуждая, в первый раз открыто, новую власть и предсказывая, что европейское общественное мнение террора ради террора не одобрит.

Тут же мы узнали, опять-таки по прямому проводу, что Адмирал тяжело и опасно заболел острой простудой, и нашему министерскому поезду было предложено, оставив инспекторские смотры, на всех парах спешить в Омск, где мог опять возникнуть вопрос о власти.

Кап. Петров пришел в этот вечер в купе, которое едва освещалось единственной свечой, коптившей в фонаре сверху, и нервно рассказал, со слов встреченного им офицера из Омска, что Адмирал простудился потому, что ездил по

казармам в легонькой солдатской шинели и когда ему сказали, чтобы он одевался теплее, то он резко оборвал:

— «Пока наши солдаты ходят раздетыми, я о себе заботиться не имею права».

Это были первые живые слова Адмирала, которые я воспринял, еще не видя его, но уже находясь в непосредственной от него близости, у него на службе.

Кап. Петров заразил меня своим восхищением и когда, в ночь на 1-е января 1919 года, я опять вышел на перрон знакомого вокзала в Омске, чтобы остаться в этом городе безвыездно, на протяжении семи месяцев, я знал, что в пантеоне моих героев, отныне и навсегда, останется адмирал Колчак, светлую память о котором я бережно храню по сей день.

Омский вокзал в эту новогоднюю, такую странную, ночь представлял собою жуткое зрелище.

Был мороз, свирепый сибирский ночной мороз с ветром, нижущим, несмотря на шубу, до костей. Вокзал, даже платформа, были переполнены людьми. На девяносто процентов это были в общем месиве, солдаты и офицеры, при чем последних нелегко было издали отличить — те же папахи и погоны из сукна.

Во всех помещениях вокзала, в третьем классе, как и в зале первого, на всех скамьях, на стульях, на полу сидели военные. Это напоминало или отправку эшелонов на фронт, или какую-то подготовку к бунту.

Солдаты были в большинстве молодежь, как переодетые гимназисты, а офицеры тоже немногим постарше, и я быстро почувствовал, что здесь царят настроения как раз противоположные бунту, что это белая рать и притом отборные ее части.

Это были действительно те самые первые сибирские кадры, которые героическим переходом, во главе со своим любимым 27-ми летним Пепеляевым, не только забрали Пермь,

но еще и окружили врага в мешок, наводя панику на лучшие части красной гвардии.

О новом годе никто не говорил, эта мелочь никого тогда не занимала. После официальной встречи, я вернулся в поезд и нас стали передавать на Ветку. Об омской знаменитой Ветке, ее внешности, смысле, значении и обитателях, надо поговорить в особицу.

Сановники на ветке

1 января 1919 года я проснулся в вагоне, на омской Ветке. Народилась она, этот ряд запасных путей и тупичков, по соседству с внушительным и просторным зданием управления железной дороги, занятым, в эпоху омского правительства, Ставкой Верховного.

Я вышел из купе в коридор, протер заиндевевшее окно и первое, что увидел, был повар, на площадке соседнего вагона. Повар был внушительный: в поварском одеянии, рукава засучены, на голове поварской колпак, черные, какие-то не русские, усы, и он проворно ножом чистил рыбу.

Я знал, еще со вчерашнего дня, что наши вагоны поставят рядом с составами дипломатических миссий и потому без труда догадался, что это поезд высокого комиссара Франции Реньо, которого вскоре сменил в Омске граф де Мартель.

Тут же, но соседству, находился в своем поезде высокий комиссар Великобритании, сэр Чарльз Эллиот, наезжал на Ветку то из Владивостока, то с уральского фронта ген. Альфред Нокс. Вскоре рядом с нами стал состав ген. Жанена, с его начальником штаба полк. Бюксенщюц и адъютантом Пешковым, про которого всегда добавляли — «сын Максима Горького». Пешков, небольшой, рано лысеющий, с глазами, как две маслинки, в щегольском светло сером доломане, был, впрочем, только приемный сыном Максима Горького и братом Свердлова председателя ВЦИК-а, того самого, который подписал приказ о расстреле Царской Семьи.

Все посольские составы и отдельные вагоны на Ветке я, конечно, не рассматривал, времени в Омске всегда не хватало, но тут же проживали, в разное время, разные представители чехов д-р Гирса, ген. Чечек, ген. Сыровой; оставивший по себе (едва ли не единственный) светлую память ген. Стефанек, так безвременно угасший; адмирал Танака, а, потом, омская Ветка видела чрезвычайного посланца президента Вильсона г. Морриса, прибывшего с тем самым ген. Грэйвсом, который

постоянно проживал во Владивостоке и очень сочувственно относился к большевикам, державшимся на Сучане. Ген. Грэйвс недавно опубликовал свои мемуары о «Сибирской экспедиции», где постарался затушевать свою двуликую политику, но, во всяком случае, не подлежало сомнению одно, что главную задачу свою, как командующий Американскими экспедиционными войсками, ген. Грэйвс видел в том, чтобы, всюду и везде, ставить палки в колеса японскому командованию.

Что бы потом не писал ген. Грэйвс, вот его интервью от 8 апреля 1920 года, тотчас по оставлении Владивостока. Оно и теперь говорит само за себя и, прежде всего, оно демонстрирует, каковы были взгляды и чувства части руководителей интервенции, которая и по заданиям и по существу должна была осуществлять помощь белым против красных.

«Если японцы оставят Сибирь, то положение в России само собою улучшится», — заявил генерал-майор Вильям С. Грэйвс, бывший командующий американскими экспедиционными войсками в Сибири, прибывший 8 апреля 1920 г. в Манилу, на борту военного транспорта «Грэт Норден», корреспонденту газеты «Манила Дэйли Бюллетень».

«Мир в России, несомненно, наступит, — сказал генерал Грэйвс, но присутствие японцев мешает его осуществлению. Большинство населения — большевики. Остальные, воспитанные в духе старого режима, принадлежат к колчаковской группе. Между прочим, «большевизм» совершенно неправильно истолковывается в Соединенных Штатах и, как я полагаю, здесь тоже. При упоминании слова «большевик», в представлении слушателя вырастает образ угрюмого анархиста с бомбой в одной руке и факелом в другой. Но большевики в России работают в пользу мира и процветания своей страны. По моему убеждению, они проявляют исключительную честность и справедливость к народу. Они глубоко сожалели о кровопролитии и о тех жертвах, которые пали до того

момента, когда они вновь пришли к власти — 31 января текущего года, — и они прилагают все усилия к тому, чтобы искоренить это явление в будущем. Я лично считаю, что большевики в России составляют 95 процентов населения, а в Сибири даже 98 процентов.

«Антибольшевики, приверженцы старой династии, не желают ухода японцев, — прибавил генерал, — по той простой причине, что они боятся потерять все огромные концессии и преимущества, которыми так щедро награждал их царский режим до Великой Российской Революции».

Но к поведению части союзного командования мы еще вернемся. Сейчас мы на Ветке, в период, когда интервенция переживала еще медовый месяц отношений с белой властью в Омске.

Особенно памятным на Ветке персонажем был полк Ворд, командовавший отрядом канадцев, член парламента от рабочей партии, которая тогда была очень левой (о левизне лабористов можно судить по тому, что их лидер, тогда, Рамзай Макдональд, в 1918 году рекомендовал ввести в Англии советы). Тем более ценной была позиция исключительной дружбы к адмиралу Колчаку и, вообще, к белому движению, которую настойчиво подчеркивал полк. Ворд в своих застольных речах и беседах с репортерами.

Вообще англичане в Омске почитались «самыми симпатичными». Они не вмешивались, подобно Жанену, попавшему в плен к чешским политиканам, в распоряжения русской власти, они не были заинтересованы в соревновании за счет если не Сибири, то русского Дальнего Востока, что красной нитью проходило во взаимоотношениях американцев и японцев, они, наконец, были очень удачно в Омске представлены.

Если не считать сэра Чарльза Эллиота, ученого океанографа и востоковеда, на вид замкнутого, холодного человека, плохо скрывавшего свое недоверие к «омской комбинации»,

то от лица Англии черчиллевского, а не ллойд-джоржевского типа в Омске выступали трое: уже упомянутый полк. Ворд, генерал, ныне сэр и член парламента, Альфред Нокс, и, приехавший для духовной связи, славян — профессор, тоже сэр теперь, Бэрнад Пэрс.

Затем, самое присутствие в Омске, хотя и горсточки (по сравнению со стихией народных масс, вовлеченных революцией в междоусобие), — рослых, бравых, дисциплинированных канадцев в их характерных головных уборах с мехом, наполняло трепещущее сердце омского обывателя наивной верой, что пока «англичане с нами» ничего особо скверного не случится. Так как будто и оказалось впоследствии.

Первый день мой в Омске прошел как-то сумбурно, в визитах, а 2-го января я отправился с генералами Степановым и Марковским осматривать здание, которое только что было отведено им под военное министерство.

Этим зданием оказалось коммерческое училище, расположенное в центре города и, подобно другим нашим коммерческим училищам в Харбине, во Владивостоке и в других городах, представлявшее собою образец зданий, в которых надлежит размещать школы: просторные, светлые коридоры, еще более светлые, просторные классы, внушительный вестибюль и т. д.

На всю жизнь, в связи с этим осмотром, врезались в мою память две картины: омское коммерческое училище, которое мы осматривали со Степановым и Марковским 2-го января, еще сохранившее всю видимость школы: с партами, классными досками и назидательными картинами из русской истории по стенам, и то же самое здание, когда я туда попал недели через три, на прием к министру, когда оно стало военным министерством!

Какой разительный контраст: ни парт, ни классных досок, все двери в коридор из бывших классов наглухо заперты, стекла в дверях изнутри тщательно закрыты синей бумагой,

везде надписи отделов и отделений, всюду сакраментальное: «без доклада не входить» и только изредка по коридору проплывал тот или иной штабной авгур с папкой дел «входящих» и «исходящих».

Этакая быстрота оборудования или, вернее, превращение провинциального коммерческого училища в столичное военное министерство, может быть, при других обстоятельствах, могла бы и восхитить, но тут, сразу, на меня пахнуло такой нелепой канцелярщиной, таким подчеркнутым бюрократизмом, таким фатальным несоответствием того, что требует кровавая горячка гражданской войны и что устроили тут, в безопасном, пока что, тылу гг. военные бюрократы, что мной овладел ужас.

Посещение, в этот второй визит, кабинета военного министра ген. Н. А. Степанова еще больше укрепило меня в мысли, что эти «старые генералы», во всяком случае, не понимали или не хотели упрямо понять, что происходило кругом них, что такое революция, на какую работу они были поставлены и т. д.

Из простого, милого, радушного, каким я знал Степанова по совместному путешествию из Харбина до Омска, он превратился вдруг в заправского министра. Он сидел за письменным столом, заваленным бумагами, у него под рукой было несколько, порядком подержанных, телефонных аппаратов, он уже не разговаривал с вами, а «принимал вас» и, в то же время, он все время отрывался от делового разговора для каких-то дополнительных дел: звонил в один телефон, отвечая в другой, что-то искал в бумагах, перед ним лежавших и, вообще, суетился зря. На меня этот визит произвел настолько тяжкое впечатление, что, мысленно окрестив ген. Степанова «сумбур пашей», я больше в военном министерстве не был ни разу, за все семь месяцев пребывания в Омске и когда мне было нужно «военмина», ходил к нему на квартиру; жил он в доме д-ра Яцкина.

Ген. Степанов, кажется в мае, пал жертвой интриг в совете министров предварительно сам, перед своим падением, приняв участие в интриге, которая повлекла за собою уход в отставку энергичного министра внутренних дел А. Н. Гаттенбергера, который всем был хорош, кроме того, что он представлял собою «сибирские корни», а к середине 1919 года Омск резко поделился на тех, кто был «от Сибири» и на тех, кто прибыл сюда «из России» и кто забирал все больше влияния в «омской комбинации».

В тот же первый мой визит, в намеченное здание военного министерства, я проследовал, в находившееся неподалеку, министерство внутренних дел. Кстати, по Омску ходил удачный анекдот следующего содержания: «в чем разница между Петербургом и Омском? В Петербурге все знали, где находится какое министерство, но очень трудно было встретить министра, в Омске министры встречаются на каждом шагу, но очень трудно найти министерство». И, в самом деле, — если послы «союзных держав» проживали в вагонах на Ветке, то министерства ютились в случайных помещениях, а министрам приходилось жить по реквизированным у обывателей комнатам.

Министерство внутренних дел находилось, если не изменяет мне память, в здании Областного управления, на той самой площади, где находился и Сенат (да в Омске был и Сенат!), занявший очень внушительное, новой стройки, здание судебных установлений.

Помещение «минвнудел» было вместительным, но мрачноватым: приземистое, в стиле кордегардии николаевских времен, оно, кроме собственно министерства, давало приют и областному управлению, и департаменту по делам печати, куда я был назначен «начальником отделения», и даже правительственному информационному бюро.

Первым делом здесь я поспешил нанести визит тому, кто меня в Омск вызвал, проф. Н. Я. Новомбергскому.

Он изменился за те месяцы, что мы с ним не виделись, когда обстоятельства заставили меня, в срочном порядке и полунелегально, покинуть Томск, еще при большевиках. Осунулся, посерел. Сразу сказал, что собирается подать в отставку:

— Не вижу путей к плодотворной работе, — говорил он своим приятный «лекционный» баритоном, — за пределами Омска сумятица и полнейший произвол, здесь интриги и интриги. Вот, вы посмотрите эту публику!

И он, со злобой, стал говорить о министре финансов, тогда всесильным или казавшимся таковым, И. А. Михайлове:

— Вы увидите этого нашего Макиавелли, с розанчиками на щеках!

— А как на счет помещения, где мне жить, комнаты? На Ветке очень далеко...

Николай Яковлевич — милейший и обязательнейший, тотчас решил прийти мне этом отношении на помощь. Он сам позвонил в управление коменданта, справился о тех комнатах, которые можно было надеяться «реквизировать» и когда это ни к чему не повело, сказал, разводя руками:

— Что будешь делать! Товарищ министра внутренних дел становится в тупик, где устроить на ночлег своего подчиненного. Мне самому, одно время, пришлось ночевать в конуре у швейцара, под лестницей, да, да, вот здесь, в министерстве. А, вот что, пошлю я вас к Кадыш, он городской голова, и мой добрый знакомый. Дом у них большой, авось что-нибудь придумают.

Но вместо Кадыш мне предоставили комнату, реквизированную комендантом у прис. пов. Титова.

Органы осведомления

Когда, еще через день, я явился в министерство внутренних дел для работы, то узнал, что наш департамент по делам печати все еще пребывает в «порядке формирования» и, что меня особенно поразило, никаких информационных функций исполнять не предполагает, а ставит себе задачей наладить на территории правительства, от Камы до Владивостока аппарат цензуры.

— Какое же учреждение у вас, в Омске, осуществляет информационную работу, ведет пропаганду, занимается агитацией? — спросил я.

Мне ответили уклончиво: есть информационное бюро, есть осведомительный орган в ставке, существует РТА — телеграфное агентство. Кое-что делает в этом же направлении и министерство иностранных дел. Туда как раз у меня было письмо, к товарищу министра Г. К. Гинсу. Я поспешил к нему. Гинс, годами молодой, державшийся не по-министерски просто и спокойно, принял меня внимательно и подробно расспрашивая о положении дел на Дальнем Востоке.

Я обстоятельно изложил ему о разноголосице в органах печати, о той систематической травле, которая ведется на Дальнем Востоке против омской власти, о полной неосведомленности иностранных корреспондентов в Харбине и Владивостоке о том, что делается в Омске — не налажено, видимо, у Омска никакой связи ни с Токио, ни с Пекином, не говоря об Америке и Европе.

— Все это очень интересно, — сказал Г. К. Гинс, — могли бы вы повторить все, что мне рассказали сегодня вечером, я устрою совещание руководителей министерства, по информационному вопросу.

Я охотно согласился и прибыл в назначенный час, несколько более подготовленный к докладу. Министерство иностранных дел в Омске занимало бывший дом губернатора:

это было здание в один этаж, с рядом просторных комнат и с довольно импозантным входом.

В кабинете министра собрались: Г. К. Гинс, который, после ухода проф. Ю. В. Ключникова, руководил министерством, И. И. Сукин, которого окружение адмирала прочило в управляющие министерством, что через несколько дней и случилось, товарищ министра Жуковский, «единственный настоящий», как про него говорили (он много лет занимал должность генерального консула, перед войной в Праге), несколько директоров департаментов и др. Когда мне было дано слово, я сделал свой доклад, нарисовав мрачную картину гнетущей неосведомленности заграницей об Омске, его борьбе и его политической программе.

— Критиковать легко, — сказал мне не без яда Сукин, — и то плохо и это... А вот вы бы взяли и помогли нам! Вы журналист? У нас есть бюро иностранной информации... После ареста Директории там остались одни милые дамы. Они что-то сочиняют, что-то переводят, что-то отправляют. Это надо организовать! Беретесь за это дело?

Так состоялось мое назначение директором бюро иностранной информации. Из министерства внутренних дел я ушел без сожаления, налаживать аппарат цензуры меня мало увлекало.

Далее я узнал, что во главе информационного аппарата в Омске, еще со времен сибирского правительства, стоял А. И. Манкевич, молодой господин социалистической внешности, как все эсеры у власти, большой сибарит, характера вкрадчивого, с наклонностью к тонкой интриге. Он дружил с одиозный эсером Евгением Францовичем Роговским, Дзержинским при Директории, но сумел удержаться на своем ответственной посту и после вручения власти Адмиралу. Он был достаточно близок к Гинсу, во всяком случае, эту близость подчеркивал и восхищался умением Гинса составлять интервью для печати и заявления от лица власти.

Манкевич принял меня достаточно мило. Объяснил, что иностранная информация у него плохо налаживается, потому что нет руководителя, сам он занят срочной работой по телеграфному агентству, много времени отнимают у него нужды фронта, приходится бороться со Ставкой, с военным министерством, которое только еще формируется, но уже завело свой собственный информационный отдел. Есть информационный отдел при министерстве иностранных дел. Выпускает информационные издания и отдает параллельные приказы «Осканверх». Военные вообще решительно против того, чтобы работа осведомления и антибольшевистская пропаганда велась штатскими. Сами они это дело централизовать не могут, и ничего в нем не понимают, но денег тратят уйму. При каждой армии имеется отдельный информационный отдел. Одни листовки и обращения к населению говорят одно, другие другое, от этой какофонии в головах и солдата и обывателя сумбур стоит страшный.

— Теперь мне дали помощника, в лице доцента Сверженского, мы его назначили директором Российского Телеграфного Агентства, а вы нам наладите аппарат осведомления заграницы!

Когда Манкевич и я вошли в помещения бюро иностранной информации, картина моим взорам предстала действительно оригинальная: точно женская студия с классами переводов и машинописи. Много дам, молодых и постарше, все одеты с претензией на изящество, поскольку это было возможно в Омске; на тех столах, где нет машинок, вороха английских и французских газет. Что же делали эти «милые дамы» — как их назвал Сукин. Они, оказывается, не спеша переводили то, что им нравилось, составляли из газетных переводов сводки, эти сводки множили на ротаторе и рассылали министрам и по штабам.

Самое оригинальное было в том, что той же самой работой, используя те же самые газеты, был занят и информационный

отдел министерства иностранных дел, возглавлявшийся С. А. Елачичем. Иногда, впрочем, бюро иностранной информации посылало отдельные телеграммы информационного порядка в Лондон, Тырковой-Вильямс, Russian Liberation Committee, в Париж, Л. В. Бурцеву, который создал агенство «Union» и в Нью-Йорк, некоему Заку.

Я сказал милым дамам коротенькую речь, призвал их к дружной, совместной работе и, после ухода Манкевича, подробно ознакомился с тем, что каждая из дам в отдельности делает, что считает для себя не нужным делать и какие задания ей, до моего появления, давались свыше. Картина получалась едва ли не анекдотическая: было ясно, что все эти дамы хороших фамилий, владевшие свободно тем или иным иностранным языком, собрались здесь, чтобы не столько работать сколько, пользуясь своими связями и протекцией, получать жалование. Никакой настоящей работы осведомления иностранцев, к сожалению, налажено не было. Начинать приходилось сначала. Я вышел из бюро с решением срочно переформировать наличный состав, удалить ненужный элемент, привлечь к делу специалистов и, если удастся, для действенной связи с заграницей, заручиться содействием корреспондентов-иностранцев.

Тут, кстати, вспомню о маленькой подробности моего первого визита в Бюро. Когда я уходил, после ознакомления с личным составом, для доклада у Г. К. Гинса, меня остановила некая дама, которая конспиративно стала мне шептать на ухо:

— Будьте осторожны! Здесь есть Т., она близка к Адмиралу, и вы должны, кроме того, опасаться И., которая всегда интригует против всех. У нее связи. Она близка к Минфину. Я вам все буду сообщать.

Я поблагодарил ретивую даму за напрасное беспокойство, но от ее «услуг» решительно отказался, чем тут же нажил себе в Омске еще одного врага.

Стоит ли рассказывать в подробностях, как впоследствии наладилась работа по осведомлению заграницы? Это было бы не скромно. Отмечу только, что когда, в апреле или в мае, все органы информации, по желанию Верховного Правителя и совета министров, были слиты в одно, так сказать, министерство пропаганды, которому были приданы формы независимого, даже акционерного, внешне частного предприятия, и которое было названо «Русское Бюро Печати», во главе с А. К. Клафтоном, при многомиллионной бюджете, мой отдел иностранной информации со всем внутренним аппаратом на месте, с сетью корреспондентов в Америке и Европе был включен полностью, и сохранен без всяких изменений.

Из ближайших помощников отмечу месье Люсьена Комо, бывшего прежде консулом в Самаре, который взял на себя заведывание французским отделением, английским отделением ведал англичанин, долго живший в России, мистер Мак-Ферсен, во главе канцелярии я поставил В. А. Фетлера, владевшего четырьмя иностранными языками, много пользы принес Л. Л. Давыдов, которого мы потом передвинули в Шанхай и затем отправили в Лондон. Когда 25 июля 1919 г. я уехал из Омска обратно на Дальний Восток, во главе иностранного отдела был поставлен проф. Н. В. Устрялов.

* * *

На первом моем докладе, в середине января, по смете Бюро у Г. Г. Тельберга, которому, как управляющему делами совета министров, я был подчинен в административном порядке, он удивился цифре в 10000 сиб. рубл., которую я испрашивал на месячные расходы, а через три, четыре месяца мы переводили в Париж и по сто тысяч франков единовременно, на информационные расходы. Эти несколько слов должны дать некоторое представление о размере и размахе, быстро разросшегося, дела широкого осведомления

заграницы о том, что делало и за что боролось Российское правительство в Омске.

Когда стали приходить из заграницы газеты, где наши телеграммы и наша информация появлялись на первых страницах, когда радио из Бордо и Лиона, в своих широковещаниях, цитировало из недели в неделю наши коммюнике без сокращений, когда в моих руках оказался номер «Нью-Йоркского Таймса» с заголовком нами составленным, через всю первую страницу: «National Assambly promised by Omsk Government», тогда только можно было сказать, что кое-что начало делаться для того, чтобы диктатура адмирала Колчака получила, наконец, в мире «хорошую прессу», без чего нельзя было рассчитывать на материальную и моральную поддержку бывших союзников, рассчитывать на признание правительства Всероссийский и на успех нашего представительства на Версальской Конференции.

В конце апреля адмиралу Колчаку прислал приветствие Жорж Клемансо, возглавлявший конференцию в Версале, которая перекраивала карту мира.

— «Я не сомневаюсь, — телеграфировал Клемансо, — что сибирская армия, под руководством своих выдающихся вождей, поддерживаемая качествами храбрости и выносливости, которые она недавно доказала, осуществит ту цель освобождения России, которую Вы себе поставили».

Вслед за этим приветствием получена была декларация французского правительства, переданная Пишоном:

«Считаю своим долгом от себя и от имени всего французского народа принести поздравления Франции, и высказать Вам чувства ее восхищения перед доблестью Ваших войск, которые, в чрезвычайно тяжелых условиях нанесли поражение большевикам — врагам человечества. Глубоко веря в будущее России, единой и свободной, мы будем продолжать оказывать Вам материальную и моральную поддержку, достойную того дела, на защиту которого Вы встали. Франция,

сохранившая полное доверие к русскому народу, и будучи убеждена, что из Сибири придет возрождение, не сомневается, что вся Россия в целом вернется в ряды союзников, как только она сможет свободно выразить свою волю и окончательно изгнать захватившие власть элементы беспорядка и анархии, враждебные всякому организованному обществу».

Югославия; бывшая до конца верной национальной России, положила начало официальному признанию Омского правительства, уведомив, что она считает назначенного в Белград посланника Штрандтмана полномочным представителем Российского Правительства.

Говоря о работе по осведомлению нами заграницы проф. Г. К. Тине, во II-м томе своего труда «Сибирь, союзники и Колчак», на стр. 181, отмечает: «Усилия эти не пропали даром. В начале мая получены были указания из Америки, что общественное мнение ее начинает явно склоняться в сторону Омского правительства. Многие органы высказываются за признание адмирала Колчака. Бывший президент Тафт напечатал статью, в которой предостерегает, от каких бы то ни было сношений с русскими большевиками «врагами всего человечества и мировой демократии».

И, наконец, 3 июня, — как сейчас помню этот день, — Верховному Правителю было вручено сообщение подписанное президентом Вильсоном, Клемансо, Ллойд-Джоржем, Орландо и японским делегатом маркизом Сайондзи.

Категорически удостоверяя общее решение о невозможности установления каких-либо отношений с советской властью, представители великих держав выразили желание получить осведомление по ряду вопросов.

Если «те, с которыми они готовы вступить в общение, придерживаться одинаковых с ними взглядов», то они «готовы оказать поддержку правительству адмирала Колчака и объединившимся вокруг него, а также помогать ему

снабжением и продовольствием, с тем, чтобы оно утвердилось в качестве Всероссийского».

Когда пришло это сообщение — Адмирал был на фронте. Меня срочно утром вытребовали в министерство иностранных дел: управляющий министерством И. И. Сукин уезжал с экстренным поездом в Тюмень, чтобы там встретить Адмирала. Сукин распорядился так согласовать опубликование декларации союзников, чтобы отклики в русской печати были переданы в Париж не раньше получения там ответа правительства.

Было заранее известно, что Адмирал повторит свои обещания созыва национального собрания, верности демократическим основам, но заявит твердо, что вопрос о судьбе государственных образований возникших к жизни в результате революции в России из ее окраин, он считает необходимым отложить впредь до созыва национального собрания. Из Парижа дано было понять, что желательно услышать подтверждение независимости не только Польши, но и Латвии, Эстонии, Литвы и, в особенности, Финляндии. В самом Омске наметилась политическая группировка, предлагавшая все обещать, что хотят гг. союзники: «По приходе в Москву мы можем говорить с ними другим языком! Сейчас же, требуется демагогия».

Но Адмирал думал иначе. Кривыми путями он ходить не умел и не хотел. Как впоследствии Муссолини, Колчак всегда говорил то, что думал и говорил всегда правду.

Правительство, в целом, разделяло политические задачи Адмирала, и Сукин, еще в вагоне, набросал французский текст ответа на декларацию союзников, получивший одобрение Адмирала.

Потом граф Мартель мне говорил, что в этом ответе Сукин обнаружил редкие качества стилиста во французском языке.

Словом, успехи армии на фронте, к 3-му июня энергичным ударом на севере был занят город Глазов, оживление центральной власти, приступившей к работе по возрождению хозяйственной жизни, и наконец, правильно поставленная информация и агитация заграницей, сделали то, что по словам историографа, — «адмирал Колчак поднялся на высоту, и перед его глазами уже белели стены Кремля, и сияли купола московских церквей».

Адмирал на фронте

По насыщенности содержанием, разнообразию впечатлений и напряженности труда, месяц работы в Омске уподобляется году в обычных условиях, и семь месяцев моего пребывания там, по количеству воспринятого, пережитого, запомнившегося, могут быть уподоблены семи годам. По себе нельзя судить о других, но не только я один, а многие и многие работали в Омске с энтузиазмом, с самозабвением, с утра до вечера, и даже ночью, не покладая рук.

Мы знали, что не все удается, что многое делается кругом нас из рук вон плохо, что наряду с самоотвержением и жертвенностью, расцветает махровым цветом карьеризм и предательство, но это не мешало нам трудиться, гореть на работе и хотеть, чтобы хватило сил на труд еще больший.

Тогда еще широким пламенем пылала вера в конечный успех белого дела. Мы знали, что мы работаем бескорыстно, не для отдельного класса, не для установления того или иного режима, а только во имя России, единой и неделимой, и потому неудачи только удваивали нашу энергию. Так что, при столкновении с фактами иного идеологического строя, иного нравственного порядка, нам, энтузиастам, казалось, что все эти примеры двурушничества, себялюбия, предательства и измены единичны, что несмотря на «все это», мы все-таки «выгребем», одолеем врага, дождемся победы, попадем в Москву и спасем, вместе с силами Деникина, Россию от разрушения и гибели. Жертвенный образ адмирала Колчака, его горение идеей борьбы до конца, непререкаемость его морального авторитета, укрепляли нас в нашей вере. В этой безоговорочной вере нашей в правоту антибольшевистского дела, а через то, и в победу над красными, несмотря ни на что, как теперь очевидно, была и наша слабость, потому что по себе мы судили о других и слишком снисходительно относились к тем, кто нарушал сознательно общую гармонию жертвенного служения России из Омска.

Вот один из таких примеров подсиживания, интриги ради интриги, который, к сожалению, не повлек за собой немедленной и суровой расправы с виновным лицом.

Едва оправившись после жестокой и опасной простудной болезни, адмирал Колчак 8-го февраля отбыл на фронт. Он хотел не только увидеть своими глазами, в каких условиях борется армия и согреть своим словом сердца солдат и офицеров, которых любил горячей любовью, но хотел также своими устами изложить, в разговорах с представителями населения прифронтовой полосы, за что и как борется им возглавляемая центральная власть. Ему внушили штатские политики, что надо изложить программу правительства по аграрному вопросу, по вопросу о местных самоуправлениях, пообещать амнистию всем раскаивающимся в социалистических заблуждениях и т. д.

Для того, чтобы соответствующе «подать» эту ответственную первую поездку Адмирала на фронт перед иностранным общественным мнением, мы добились включения в свиту писателя Сергея Ауслендера, который не так давно пробрался в Омск через фронт красных, стал совсем иным, чем был в Петербурге, когда писал свои изящные новеллы о манерных кавалерах XVIII века и который быстро заразился нашей влюбленностью в Адмирала. Все телеграммы Ауслендера из поезда Верховного, я, после обработки и особо тщательного перевода на французский и английский язык, отправлял по кабелю в Париж, Лондон и Нью-Йорк. В этой работе, за болезнью правителя дел Р. А. Фетлера, мне старательно помогала А. В. Темирева, жена скончавшегося недавно в Шанхае адмирала Темирева, дочь проф. Сафонова, талантливого руководителя Московской консерватории. Она, как известно из истории омского движения, разделила судьбу адмирала Колчака до конца, была с ним в поезде при трагическом отступлении, была вместе с ним арестована и долгое время содержалась в Иркутской тюрьме после расстрела Адмирала.

Эта февральская поездка адмирала Колчака началась при благоприятных ауспициях. Генерал Нокс направил вслед ему такую телеграмму: «Выражаю Вам, Адмирал, полную надежду в счастливой успешной поездке на фронт. Глубоко уверен, что Ваше пребывание там, ободрит и вольет новую энергию в сердца лучших людей Сибири, которые дерутся не только за Россию, но и за весь цивилизованный мир против ужасного большевистского кошмара. Желаю еще раз передать Вам и Вашему правительству все мое и каждого знающего Россию англичанина сочувствие в славной борьбы спасения горячо любимой родины и мою твердую веру, что Вашими усилиями в честном и прямолинейном управлении, пренебрегая атаманством справа и большевизмом слева, Вы доведете эту трудную задачу до успешного конца и спасете Россию от анархии». Г. К. Гинс так описывает эту поездку:

«Вот он в Троицке, у оренбургских казаков. Четкими и твердыми словами он характеризует задачи борьбы и уезжает, бурно приветствуемый кругом, обещая удовлетворить все справедливые пожелания войск. Через несколько дней он, в бронированном поезде, отъезжает от Златоуста до самых передовых позиций. В одной версте от сторожевых охранений он обходит, по снежным тропинкам, боевые части, заходит в перевязочную летучку, раздает в землянке награды. Солдаты видят Верховного Правителя рядом с ними, на расстоянии выстрела, и они остаются очарованными, согретыми. Воодушевленные приездом своего вождя, они идут в атаку, берут несколько деревень, отбивают орудия, пулеметы.

«Адмирал едет дальше, на северный фронт. В Перми он идет на пушечный завод. Беседует с рабочими, обнаруживает не поверхностное, а основательное знакомство с жизнью завода, с его техникою. Рабочие видят в Верховном Правителе не барина, а человека труда, и они проникаются глубокою верою, что Верховный Правитель желает им добра, ведет их к честной жизни. Пермские рабочие не изменили правитель-

ству до конца. Опять Адмирал едет на передовые позиции. Едет так далеко, что о нем начинают беспокоиться, просят остановиться, наконец, говорят, что путь испорчен, и поезд не может идти. Тогда он требует лошадей и проезжает все-таки дальше, осматривая позиции. Несколько раз деревня, где находился Верховный Правитель, обстреливалась красными. Мужество главнокомандующего окрыляло солдат. Повсюду, где проезжая Верховный Правитель, ему подносили хлеб-соль и адреса, засыпанные подписями. Подносили рабочие, крестьяне, купцы, духовенство. Все выражали восторг по поводу избавления от страшного ига и в самых искренних выражениях благодарили за спасение. Произносил большие речи и сам Правитель. Встречаясь лицом к лицу с деятелями общественности, с земскими и городскими представителями, он разъяснял им программу и цели правительства. Три мысли были ярко выражены в этих речах: непримиримая борьба с большевиками, единение с обществом, земля — крестьянам».

Вскоре после возвращения Адмирала в Омск, по всему фронту началось решительное наступление. 8 марта военная сводка сообщает о взятии Оханска и глубоком обходе Осы. Через несколько дней, на голову разбитые красные, в панике оставляют почти всю Каму и бегут к Вятке. Проходит несколько дней и получается новая телеграмма 14 марта: «после стремительного удара наших войск, красные в панике оставили Уфу. Успехи развивались дальше. На севере лыжники сибирской армии вошли в соприкосновение с войсками Архангельского правительства».

И вот в эти самые ответственные дни, я получаю большой пакет за пятью красными сургучными печатями, с печатной надписью внизу: «Главноуправляющий делами Верховного Правителя и Совета Министров».

В конверте ряд бумаг, скрепленных зажимом, некий французский текст, и, через всю первую страницу, написано

синим карандашом, крупным почерком три слова: «Что за вздор!» А, сбоку, я рассмотрел карандашную приписку, знакомым мне почерком проф. Тельберга: «Затребовать от Л. В. Арнольдова срочных разъяснений».

Мне не стоило большого труда угадать сразу, по первым строкам текста, что в бумаге содержался перевод той самой телеграммы Сергея Ауслендера, где он излагал речь адмирала Колчака в Челябинске, по земельному вопросу. Адмирал говорил об укреплении и развитии мелкой земельной собственности за счет крупного землевладения. В бумаге же все эти мысли, яко бы, посланной мною в Париж телеграммы, были тонко и подло искажены.

Я тотчас вызвал к себе в кабинет А. В. Тимиреву, которая как раз в дни февральской поездки Адмирала на фронт ведала нашей канцелярией и когда она вошла, протянул ей бумагу. Она взглянула на надпись синим карандашом через всю страницу и, внезапно пошатнувшись, схватилась свободной рукою за край стола.

— Что с вами, вам нехорошо? — спросил я, удивленный. Она ответила, изменившимся голосом:

— Его рука!..

Тогда только я понял, что слова синим карандашом, написаны Адмиралом, и тут же осознал всю глубину преданности этой женщины. Глазами, сердцем она мгновенно угадала; что делая эту надпись, Адмирал был взволнован, взбешен и сама разволновалась его волнением. Конечно, тут не было никакого страха перед ним или, тем более, опасений за свою судьбу. У нас А. В. Темирева работала, во всяком случае, не из-за денег. Те же чувства испытал бы, по моему, молодой фашист, если бы сейчас в Италии, где все влюблены в Муссолини, узнал бы, что своим поступком мог рассердить, раздосадовать, взволновать Дуче.

Дело становилось серьезнее. Мы тотчас же с нею нашли в делах оригинал телеграммы, полученной из Челябинска от

Ауслендера, на русском языке, нашли копию утвержденного мною перевода и копию официального телеграфного бланка с текстом этой телеграммы в готовом для передачи в Париж виде. Далее, я вызвал автомобиль и помчался на телеграф, получить там подлинник той телеграммы, которую мы отправили, касательно этой речи. А по дороге на телеграф, вспомнил, что как раз после возвращения Адмирала из поездки на фронт, один крупный чиновник министерства иностранных дел, который метил на мое место, упросил меня дать ему «для справки» папку, в которой были собраны все информационные документы, связанные с поездкой Адмирала на фронт — все, что мы получали из поезда Верховного и все, что, потом, отправляли за границу, в телеграфные агентства и отдельные газеты. Дал я эти документы без всякой охоты, и, потом, словно предчувствуя возможность провокации, дважды осведомлялся у правителя канцелярии, возвратило ли министерство иностранных дел эту папку. Две недели оно ее не возвращало.

Мне не стоило теперь большого труда, с документами в руках, убедить Г. Г. Тельберга, что телеграмма грубо подделана и в таком подделанном виде нарочно была подсунута Адмиралу, чтобы вызвать его гнев и, тем самым, предрешить мою отставку, чего, видимо, и добивался интриган. Все обошлось благополучно. После моего очередного доклада у министра иностранных дел, тот не скрыл от меня, что Адмирал был взбешен.

— Над вашей головой собралась, было, грозная туча, — сказал он. Но теперь, за то, вы можете требовать головы этого человека! Если вы хотите, я даже не предложу ему подать в отставку, а просто уволю его в административном порядке.

Я подумал и отказался от мести.

В те же дни состоялся в Омске парадный спектакль в городском театре, единственный спектакль, на котором я присутствовал за все семь месяцев. Британское войско решило

приветствовать со сцены, очень среди них популярного, адмирала Колчака и, заодно, показать Омску свои сценические способности.

На спектакль батальона канадцев собрался весь правящий и дипломатический Омск. Толпа была, впрочем, серая, потому что в смокингах могли придти только единицы — большинство вообще располагало тогда одним единственным штатским костюмом «получше», для особо торжественных случаев, предпочитая днем, на работе, носить защитные френчи.

Все с напряженным интересом ждали появления в литерной ложе Верховного Правителя. Мне, из партера, хорошо были видны все, кто сидели и в ложах и в первых рядах: министры, высокие комиссары, омские сенаторы, генералитет, союзное командование; как сейчас помню, премьер-министр П. В. Вологодский и семья Г. К. Гинса находились в общей ложе. Дамы были в песцах.

Когда Адмирал появился, точно в назначенный час, весь зал поднялся сразу, общим порывом, и дирижер взмахнул палочкой. Полились величавые звуки «Коль Славен», а, потом, был исполнен британский гимн. Позади Адмирала сидел ген. Альфред Нокс и полк. Уорд.

Отдельные сценки — скетчи сменялись сольными номерами, много было балагурства, и всех особенно воодушевило исполнение хоровой вещи, в припеве которой были слова:

— Jolly good luck to Russia and to Koltchak». — быстро подхваченные всем залом.

Адмирал был худ и бледен, он казался утомленным, было что-то обреченное в четких линиях его лица, в его выразительном профиле. Он явно делал над собою усилие, когда надо было вставать, кланяться, отвечать на приветствия.

И я почему-то думал о другом таком же парадном спектакле, 1 сентября 1911 года d Киеве, когда, выстрелом Богрова, у России был отнят П. А. Столыпин.

Писатель об Адмирале

Вскоре после поездки Адмирала на Фронт, Русское Бюро Печати опубликовало брошюру писателя Сергея Ауслендера о Верховном Правителе. Она была распространена в десятках тысяч экземпляров на фронте и в тылу, и свое дело сделала в запечатлении для потомства образа адмирала Колчака.

На титульной странице портрет Адмирала, с клише, резанного по дереву. Кроме того, С. Ауслендер впоследствии опубликовал еще одну брошюру: «Верховный Правитель на фронте». Эти и другие издания Бюро Печати: В. Владимирцев «Как рабочие и крестьяне восстали против большевиков», Бонч-Осмоловский «Кому земля достанется» и т. д. находились на складах Бюро Печати в Омске (знакомый адрес) 2-ой взвоз, д. Липатникова.

Экземпляр этой брошюры, — ныне музейная редкость, — лежит сейчас перед моими глазами, Сергей Ауслендер писал:

«Очерк о Верховном Правителе я хочу начать теми строками, которые я записал в ноябре 1918 года, впервые увидав Верховного Правителя несколько дней спустя после того, как Совет Министров постановил передать всю полноту верховной власти ему.

Это были дни тревоги, когда все еще было смутно и неопределенно, когда дело спасения России висело на волоске, когда многие малодушные и смятенные еще боялись сказать свое мнение о совершающихся событиях.

И вот, когда я увидел его, вдруг ощущение какой-то спокойной решимости охватило меня. Я понял, что все спасение России и каждого из нас, связало с этим человеком. В тот же день я записал следующее:

«Когда легкой, но какой-то особой точной походкой он прошел по унылому коридору Ставки Верховного Главнокомандующего, слегка наклонившись к листку телеграммы, которую он читал, кто-то сказал: «Вот адмирал».

И в ту же секунду, когда я увидел этот острый, четкий, тонко вырезанный профиль, у меня явилась мысль: почему так знакомо это лицо, где я уже видел этот гордый с горбинкой нос, этот твердый овал бритого подбородка, эти тонкие губы, эти глаза, то вспыхивающие, то потухающие под тяжелыми веками?

Да, на римских камеях искусный художник, запечатлевая образ воина и героя, черты человека, видавшего смерть совсем близко, познавшего радость победы и горечь поражений, видавшего и далекие страны, и пышные триумфы и ужасные картины беспощадной битвы, умудренного суровой мудростью, неустанного мечтателя и закаленного бойца. Художник умел передать своим резцом и суровую твердость, и скорбную нежность в таком тонком, четком профиле.

Вот он какой, Адмирал, — небольшого роста, худощавый, стройный, с движениями гибкими и точными, с лицом, навсегда сохранившим загар далеких морей, то почти юноша, когда вспыхнет что-то там, внутри, то вдруг усталый смертельно, измученный всем, что было, и что предстоит еще, голос негромкий, глуховатый, но такой, что услышишь среди самого яростного гула орудий, и такая сила чувствуется в этих маленьких загорелых пальцах.

Адмирал! О нем ходят уже легенды. Его имя уже давно повторяют, кто с пламенной надеждой, кто со смертельным страхом.

Жизнь его, наполненная сражениями и упорными трудами, жизнь моряка и реформатора русского флота, становится достоянием истории.

Власть, это всегда не только радость, не только удовлетворение честолюбия, это тяжелое бремя, которое необходимо уметь нести твердо, свято и торжественно. Немногие умеют чисто внешне, не принимая фальшивых, напыщенных поз, сохранить свое человеческое лицо и придать ему выражение подлинной величественности, значительности и огромной

ответственности, которые налагаются властью. Потому так часто получившие власть опьяняются, теряют чувство меры как в мыслях, поступках, так и во внешних движениях, жестах.

Что прежде всего поражает в Верховном Правителе, чего не могут не чувствовать все, кому приходилось непосредственно видеть и слышать его — это какая-то необычайная подлинная человечность каждого движения, слова, взгляда.

Ничего ненастоящего, придуманного, неискреннего, эта естественная простота каждого жеста, этот напряженно-внимательный взор, эти речи, произносимые без всяких ухищрений ораторского искусства, спокойные, несколько сухие, деловые, твердые, ясные слова, в которых чувствуется все биение живого, большого чувства и глубокой пристальной вдумчивости ко всему, с чем приходится соприкасаться — все это делает внешний и внутренний облик совсем не похожим на обычного официального представителя власти, овеянного холодом предвзятых теоретических выкладок, холодом, который не может одолеть даже пафос звонко-пустого красноречия иных недавних властителей.

О чем бы не говорили ему: о сложных делах внешней политики, о тяжелых финансовых и продовольственных нуждах освобожденных от злого плена городов и земств, или делегация рабочих рассказывает о своих делах, о потерявшемся вагоне хлеба и о невыдаче керосина, обо всем большом и малом, общем и частном — всегда у него такое напряженное желание все узнать, сейчас же найти возможность так или иначе помочь.

Эта серьезность постоянной заботы, постоянного внимания, делает его лицо сосредоточенным, несколько печальным, но эта внимательность, это напряжение делают лицо таким живым, человеческим, совсем близким каждому, кто видит и слышит его.

Но, рядом с этой человеческой простотой, простотой без всякой фальшивой слащавости, простотой, несколько суровой, Верховный Правитель умеет достойно, торжественно нести величие власти.

Когда в своей совершенно простой солдатской шинели с защитными погонами, он проходит медленно вдоль рядов войск, своим пристальным, напряженно-печальным взглядом как будто замечая каждое лицо, — есть подлинное волнение величественности, которого не достигнуть никаким внешним блеском одеяния и поз.

Это достигается опять-таки, каким-то внутренним напряжением, глубочайшим сознанием той ответственности, которая принята им за Россию, за каждого, за каждого без исключения в эти страшные дни последней борьбы.

В нем есть что-то, что приковывает взоры и сердца помимо воли, что-то магнетизирующее. Вся жизнь, наполненная упорными трудами, частыми опасностями, там, в Ледовитом Океане, там, у Порт-Артура, в Балтийской и Черном морях — эта жизнь, требовавшая столько душевной крепости и твердости, положила отпечаток на весь облик.

Человек, видавший столько раз смерть совсем близко, человек не сломившийся, всегда вызывает невольное уважение к себе.

Несомненно, эти черты искренности, твердости, непреклонности, суровой простоты привлекали, приковывали к нему сердца многих.

Недаром даже в дни темного опьянения в Севастополе он один из немногих (если не единственный) военачальников умел владеть толпой, уже отравленной черным ядом, умел, не унижаясь до раболепства перед ними, сохранить свой авторитет среди матросов и рабочих, высказывая им спокойно и твердо свои мысли, безнадежные в самом разгаре революционного безумия.

Это умение влиять на людей самых разнообразных положений и устремлений, это умение заставить верить себе помимо чисто-внешнего обаяния искренности, твердости и благородства, которое передается бессознательно, помимо этого имеет глубокие внутренние основания.

Какие идеи одухотворяют Верховного Правителя, каковы его мысли, надежды и планы?

В своих речах, которые совсем не похожи на обычные речи ораторов, говорящих так часто то, чего они совсем не чувствуют, не переживают, в своих речах на земских собраниях перед местными общественными деятелями и крестьянами он в словах ясных, четких и твердых не раз высказывал свои мысли, взгляды и идеи.

Когда слушаешь его, все время чувствуешь, что каждое слово, каждая мысль продиктованы только горячей любовью и неутомимым умом, ищущим выхода из всех невыносимых бедствий, постигших Россию.

Мы знали многих храбрых и безупречных воинов, которые хорошо умели сражаться и умирать, но которым были многие государственные вопросы чужды, которые многого, при всей доброй воле не могли понять и почувствовать.

Верховный Правитель совместил в себе многое: он не только твердый воин, так хорошо понимающий, что нужно в эти часы решительной борьбы, он также ученый, привыкший свой ум направлять на области разносторонние, ему не впервые пришлось вплотную подходить к вопросам общегосударственной и политической жизни; как моряк он многое видел и познал не только из книг, а в жизни различных стран.

Все это дало ему широту мысли, не затемненной предвзятыми партийными и теоретическими программами, мысли, согретой пламенной любовью к России, за которую столько раз он готов был умереть, принимая участие в боях.

Вот прошло шестнадцать лет с тех пор, что была набросана эта характеристика скромным русским писателем и что мы можем в ней опровергнуть?

Безрадостны и трагичны были последние месяцы жизни адмирала Колчака, но они привели его в пантеон героев русской истории. Это бесспорно. Только его имя, вероятно, и перейдет в века, как олицетворение несчастной русской Вандеи.

Но история власти адмирала Колчака в Омске имеет и еще одну историческую значимость, до сих пор не отмеченную никем из историков эпохи.

В плеяде таких всем известных фигур, как Муссолини, предотвративший захват Италии коммунистами, Пилсудский, возродитель Польши, Гитлер, Кемаль-паша, ученый водитель Чехословакии Массарик, вровень с ними, должно быть поставлено имя русского правителя, первого диктатора на путях борьбы за спасение вековой цивилизации, адмирала Колчака.

Его личность, его подвиг, его мысли и деяния во многом, как прообраз, напоминают то, что делали эти столь прославляемые, каждый у себя на родине, герои современности.

Но если им судьба сулила познать и радость победы, видеть свои идеалы осуществленными, адмирал Колчак, первый диктатор в Европе и предтеча диктатур, погиб жертвой искупления за чужие грехи, еще раз подчеркнув изначальную трагичность судьбы героев русской истории.

Персонажи и фронда

Кроме Ставки, с ее холодными коридорами, и дома Верховного Правителя, довольно мрачного и снаружи и изнутри, кроме Ветки, выше мною описанной, пульс политической жизни в колчаковском Омске бился в здании «Совмина», бывшем дворце степного генерал-губернатора и в министерстве иностранных дел.

В совете министров принимали — премьер Вологодский, к которому попасть было не так трудно, особенно при содействии его адъютанта, моего товарища, но университету, пор. Бенедиктова, красивого и ласкового молодого человека, по профессии поэта, и управляющий делами проф. Тельберг, впоследствии сенатор, министр юстиции, генерал- прокурор и чуть ли не канцлер капитула российских орденов.

Г. Г. Тельберга, ныне, все эти шестнадцать лет, благополучно здравствующего в Циндао, я знал еще по Томскому университету, где он занимал кафедру истории русского права и я сохранил о нем острое воспоминание еще с той поры, когда он «срезал» меня на первом же коллоквиуме. Теперь я был удивлен, застав проф. Тельберга в том его, более чем скромном, почти крохотном кабинете, который был отведен в Совмине для человека, в руках которого фактически централизовалась вся работа правящего аппарата. Тельберг быстро надорвал свои силы на этой воистину нечеловеческой работе и, летом 1919 года, с его сердцем произошли такие осложнения, так что Владыкин, один из близких к нему чиновников, ходил на цыпочках и говорил мне с сокрушенным лицом, что Георгию Густавовичу «опять плохо». Слава Богу, море, солнце и воздух Циндао быстро восстановили силы этого одаренного человека — большого русского патриота, видного ученого, принципиального политика и блестящего стилиста.

В «Совмине» кроме чиновников — (вспоминаю Т. В. Бутова, Богданова, Прорвича) — было не мало барышень, которых,

за их принадлежность к Совмину, на манер парижских мидинеток, звали столь нескромно, что огласить это наименование в печати не представляется никакой возможности. Одна из этих барышень, слетав, в поезде министра путей сообщения Л. А. Устругова в Харбин и обратно, за покупками для себя и подруг, рассказывала мне потом, что она получила отпуск потому, что, при выходе председателя совета министров из кабинета, словчилась упасть на его глазах в обморок от «переутомления».

В отношении форм и стиля власти молодой, совсем в державном отношении зеленый Омск, который, из эмигрантского Парижа, снисходительно называли «правительством политических гимназистов», любил подражать испытанным классическим образцам: и подобно тому, например, как на башне Вестминстерского Аббатства горят часы «Big Ben», когда заседает парламент, Совмин, в дни ночных заседаний совета министров, неизменно привлекал взоры прохожих своим ярко освещенный фронтоном.

Впрочем, Совмин больше законодательствовал, чем управлял. Фактически, политика творилась в том почти тайном совете Верховного Правителя, в котором участвовали, собираясь три раза в неделю: премьер Вологодский, «Минфин» Михайлов, «growingмининдел» Сукин, «управдел» Тельберг и «минвнудел»: сначала Гаттенбергер, а потом, В. Н. Пепеляев. Присутствовал на этих совещаниях и военный министр Степанов; начальник штаба Д. А. Лебедев, свалив Степанова, также включился в число тех, кто тесно замкнули в своем кольце адмирала Колчака. О покойном ген. Лебедеве в Омске ходило много слухов. Общественность возмущалась резкостью и прямолинейностью его суждений. Его называли «злым гением» Адмирала. Рассказывали о том, как при обсуждении в Совмине ответственного земельного закона он, будто бы, ударил кулаком по столу и сказал, что этому закону не бывать. Он его не допустит!

Стоустая молва плела, ловко пущенный провокаторами слух, что Лебедев находится под влиянием близких к нему офицеров-помещиков, которые никакой реформы, ущемляющей интересы аграриев, не допустят. И хотя земельный закон был утвержден Верховным Правителем на следующий же день после рассмотрения его в совете министров, и Лебедев ограничился подачей особого мнения, которое, однако, не было принято во внимание Адмиралом, молва упорно сводила роль Лебедева к роли Протопопова.

Сам Адмирал, когда ему начинали нашептывать про Лебедева, говорил своим характерным голосом: — «Я ему верю, он мне предан с кишками»...

Мои встречи с Д. А. Лебедевым уже в эмиграции и разговоры в 1926 году, в Шанхае, и, особенно, летом 1928 года в Дайрене, в Шизуура, где мы оба стояли в одном и том же отеле, отнюдь не подтверждали мрачных слухов, ходивших по всему простору территории Омского Правительства от Урала и Камы до Приморской области: молодой генерал оказался не только джентельменски выдержанным человеком и обаятельным собеседником, но поражал своей простотой, способностью восприятия контр-мнений и углубленной сосредоточенностью. Среди близких к нему людей, среди подчиненных и соратников, он пользовался большим авторитетом. Многие буквально его обожали, а преждевременная, какая-то трагическая, смерть его в Шанхае была для всех, близко его знавших людей, страшным ударом. В общем, мы удивительно поверхностно судим о других. Часто мы подходим к людям с навязанным нам, предвзятым мнением и эта предубежденность мешает видеть человека, при жизни его, в его истинном свете. Только смерть открывает нам всего человека, каким он был, каким он должен сохраниться для истории.

В задачу моих очерков, повторяю, не входит писать историю державного Омска — отчасти она уже написана. Отчасти

это было бы мне и не под силу, при отсутствии в Шанхае документов эпохи. Свой собственный ценный архив, тщательно собиравшийся в Омске и довезенный до Хабаровска, я был вынужден уничтожить, когда 16 февраля 1920 года, в Хабаровск вошли части Булгакова-Бельского и красные партизаны. Я поэтому набрасываю здесь всего лишь панораму живых воспоминаний о людях, выделявшихся в Омске, и о событиях, в которых сам был скромным соучастником.

Итак, кроме «Совмина», совета Верховного, Ставки, Государственного Экономического Совещания, о котором надо бы поговорить отдельно, в Омске, как известно, были влиятельные политические группы, Группа Михайлова, группа сибиряков-областников не эсеров, во главе с проф. Н. Я. Новомбергским и М. П. Головачевым, группа торгово-промышленников во главе с кн. Крапоткиным, серебровolосым златоустом, и А. А. Гавриловым, хорошо известным, потом, по своей деятельности в Харбине при управляющем Китайской Восточной железной дорогой инж., Б. В. Остроумове; имелись в Омске последователи неистового адвоката Жардецкого, пламенного, даже несколько исступленного трибуна, и, в придачу ко всем этим группам, существовало несколько, наспех с импровизированных, дамских политических салонов.

Это и не удивительно, колчаковский Омск был переполнен людьми до отказа. Население доходило в 1918–1919 гг. до полумиллиона. Сюда сбежалась интеллигенция, дворяне, служилый и торгово-промышленный класс из Казани, Самары, потом из Перми, с многих мест Урала, сюда съехались все, искавшие счастья в политических авантюрах, беспокойные элементы со всех концов Сибири, из Харбина, который с конца 1917 года сам стал конденсатором политических «перекати-поле», и даже с Дальнего Востока.

В огромном, грязноватом, заставленном неопрятными столами, ресторане при гостинице «Россия», в столовой

Коммерческого собрания на набережной Оми, в популярном кафе «Люкс» и в других местах в час обеда можно было встретить кого угодно — бывших московских и волжских миллионеров, сановников из старого Петербурга вроде царского государственного контролера С. Г. Феодосьева, адмиралов и генералов, профессоров из Перми и Томска, людей со всероссийскими именами и людей, которых занесла на страницы истории капризная прихоть междоусобия.

Кто только не перебывал в Омске за этот период: Б. В. Савинков, которого Роман Гуль назвал «Генералом Бо», ген. проф. Н. Головин, С. Н. Третьяков, премьер на час, Е. К. Брешко-Брешковская, бабушка русской революции, атаман Дутов, проф. В. В. Сапожников, исследователь Алтая, кн. Анатолий Куракин, Лопухины, кн. Г. Е. Львов, потом В. Н. Львов бывший бесславный обер-прокурор Святейшего Синода при Временном Правительстве, спутавший, в качестве парламентера к Керенскому, все карты ген. Корнилову, М. Л. Киндяков, которого назначили из уважения к его званию члена Государственной Думы чуть не трех созывов, управляющим государственным коннозаводством, Н. Д. Авксентьев, элегантный мужчина, в котором едва угадывался, в его опариженненой внешности, председатель эсеровского Учредительного Собрания, Г. Б. Патушинский, в прошлом сибирский Плевако и иркутский Бо-Брюммель в цилиндре, потом министр юстиции, областник, и революционер, человек, который, имея в своем распоряжении все блага и дары для беспечальной жизни, в день объявления войны с Германией вызвавшийся идти на фронт добровольцем: — «чтобы вырвать свободу еврейскому народу»; проф. Н. В. Устрялов, которого впоследствии будут цитировать и Ленин, и Троцкий, и Зиновьев, и Бухарин, вплоть до Сталина, генерал Гайда с двумя офицерскими Георгиями, на груди и на шее, проф. Д. В. Болдырев, подниматель движения Креста и Полумесяца, певица М. А. Каринская, поэт Георгий Маслов,

А. А. Нелидов, молодой дипломат, сын нашего посла в Константинополе и Париже, хирург кн. А. В. Голицын, дочь которого уже в Америке вышла замуж за английского магната Виккерса, проф. П. П. Гудков, быв. посланник наш в Сиаме Лорис Меликов, дедушка сибирской кооперации А. В. Сазонов, в бедности погребенный в илистой шанхайской земле, кооператор А. А. Балакшин, некогда ворочавший миллионами, и такие богачи, как С. Ф. Злоказов, К. Н. Неклютин, С. П. Абрамов, А. К. Клафтон, расстрелянный после суда над омскими министрами, как «министр пропаганды», К. Окулич, графиня А. Н. Ланская, повесившаяся потом в Шанхае, ген. С. Н. Розанов, двуличный атаман и генерал Иванов-Ринов и, весь точно созданный для успехов в гражданской войне, молодой генерал А. Н. Гришин-Алмазов, ген. М. К. Дитерихс, у которого из всех наших генералов едва ли не самая содержательная биография, ген. Н. Н. Сахаров, всегда напыщенный и штатскими остро нелюбимый, очаровательный Г. Клерже, тогда всего лишь «ген. штаба полковник», умный, хитрый, дальновидный ген. А. И. Андогский, адмирал М. И. Смирнов, атаман Анненков, знаменитый военный корреспондент «Русского Слова» М. С. Лембич, нет никакой возможности сколько-нибудь полно перечислить крупных и интересных, каждый по своему, людей, которых приходилось встречать и видеть то в одном, то в другом месте правящего Омска, за период бурно-пламенных 1918–1919 годов.

Как не краток был этот период — им, и в нем творилась подлинная история, и создавались отношения, разыгрывались драмы, плелись интриги, которым могла бы позавидовать любая заправская столица.

Наряду с трагическим, в омском этапе борьбы за Россию, было не мало мелкого, забавного, и дешево тщеславного. Умалчивать об этом, значит сознательно стирать с картины краски.

Осмотревшись после приезда в Омске, я решил навестить своего знакомого еще по Томску, проф. М. П. Головачева, который быстро отгорел, как распорядитель судеб внешней политики Сибирского правительства, но в Томск, в университет, читать лекции, почему-то не возвращался и жил в Омске, «на покое».

М. П. Головачев, как я узнал, обосновался в барском особняке у моего родственника К. А. Гриневицкого, директора банка. Я приехал к нему с визитом, часов около одиннадцати. Узнал от горничной, что «г. профессор встали». Но, несмотря на поздний час, молодой ученый и дипломат заставил меня основательно его подождать: не то он прихорашивался, не то с кем-то секретно совещался, не то просто хотел показать, что у него принимают не сразу.

Потом он вышел ко мне. Он был все тот же, как и в Томске, в университетских коридорах или на кафедре, за чтением лекции по международному праву, после вынужденного отъезда, занимавшего ряд лет эту кафедру, проф. Н. Ив. Кравченко.

Он, по-прежнему, несмотря на утренний час, носил визитку и какой-то особо шикарный галстук, черно-белых, торжественных тонов. Волосы у него были, как всегда, несколько небрежно откинуты назад. И было во всей его наружности и даже профиле, в те времена, что-то до странности схожее с поэтом Александром Блоком.

Мы говорили — Мстислав Петрович слегка фрондировал и, видимо, был отменно недоволен тем, что я не только остался служить омскому правительству, да еще у его соперника под началом, но как будто бы даже начал делать карьеру. Он же все явственнее проявлял свою оппозиционность.

Если, теперь, в зрелые годы, через шестнадцать лет, нам обоим вспомнить этот разговор бывшего товарища министра, которому было лет 26 и директора департамента, едва насчитывавшего 24 года от роду, то нельзя не улыбнуться

и нашей тогдашней самоуверенности и той беспечной, я не скажу бездумной, храбрости, с какой мы творили, как могли и умели, государственное дело. Впрочем, с той стороны, под началом Ленина и Троцкого, с нами сражались тоже мальчишки.

Все вокруг нас были молоды: всесильному министру финансов было 29 лет, министру иностранных дел лет 27, генералам Пепеляеву, Гайда, Гришину-Алмазову никому из них не было тогда и тридцати лет.

Оппозиционность Головачева была, впрочем, довольно невинного свойства; сказывалась она главным образом в том, что, при содействии гостеприимного дома Гриневицких, он устраивал политические банкеты, на которые приглашались иностранные дипломаты и те омские сановники, которые могли считать себя обиженными или неоцененными. Раза два, на таких банкетах присутствовал и я: помню, был среди званых чешский майор Кошек; не получивший назначения от Омского правительства дипломат Лорис-Меликов и другие фрондеры.

Имя Адмирала в разговорах не упоминалось — его престиж был высок даже в кругах оппозиции, за то ближайшим «клевретам»: Михайлову, Сукину, Гинсу на этих обедах здорово доставалось. Итак, как в Омске все быстро становилось известным, то и слава о каких-то мистических собраниях у Головачева за «круглым столом» быстро прошла по всему Омску — Мстислав Петровичу этого видимо и надо было.

В самом деле, с ним поступили несправедливо: в просвещенной Европе, если товарищ министра не подошел, ему дают пост посланника или, как Ключникова, посылают с ответственным дипломатическим поручением в Париж. А тут, хоть бы что: в чистую отставку.

Визит к Минфину

Доброжелательства, взаимной терпимости, хотя бы со стороны своих к своим, вот чего не хватало в Омске. Трудно культивировать эту основную гражданскую добродетель в разгар междоусобной войны. Тут как никогда: homo homini lupus.

Первой серьезной задачей, которую мне пришлось разрешить в Омске, было принятие контрмер против той агитации, которую повели за границей высланные члены Директории. Нет смысла опять рассказывать подробности ее низложения и причины, приведшие к этому. Лишний раз хочу подчеркнуть, что адмирал Колчак в гибели власти, созданной при помощи непрочного сговора на Уфимском государственном совещании, не участвовал. На заседании правительства 18 ноября 1918 года, после ареста Авксентьева и др., кроме Колчака, выдвигались кандидатуры Хорвата и Дутова. Авксентьев, Зензинов, Аргунов, Роговский и теперь не могли бы опровергнуть свою тогдашнюю близость к В. М. Чернову, а Чернов опубликовал грамоту, которая давала все основания привлечь не только его, но и бывших членов Директории, к уголовной ответственности.

Не надо забывать какое было тогда время, сколько накопилось у всех и каждого злобы, как пылала в сердцах жажда мести за все, что гибло, за все унижения, испытания и муки. Сторонников террора ради террора ко всем инакомыслящим, в среде омских военных было достаточно. Наконец, история нас учит, что в моменты переворотов головы летят почем зря — достаточно всегда иметь перед глазами расправу Гитлера с группой капитана Рема летом 1934 г., чтобы согласиться, что Авксеньтьев и его друзья буквально чудом сберегли свои жизни и в благодарность за это чудо они обязаны были, покинув пределы Сибири, молчать.

Их не только выпустили, их снабдили деньгами, каждый получил по 50000, а семейный Аргунов получил даже 75000, что, по тогдашнему курсу, составляло около десяти тысяч иен.

Но еще в Китае, в местной английской печати, появились беседы с Н. Д. Авксеньтьевым: в них он живописал Колчака, как деспота, который, в случае своего успеха, вернет Россию к худшим временам царизма, Вологодский рисовался марионеткой в руках темных сил, а члены правительства, которое сам Авксеньтьев недавно возглавлял, описывались им под один колер: авантюристов и ничтожеств.

Пока Авксеньтьев и другие члены Директории плыли по морям, на пути в Париж, у нас подобрался богатый материал о подрывной работе эсеров в Сибири, но решено было этим материалом воспользоваться только после того, как станет очевидно, что Авксеньтьев и в Париже ведет агитацию против власти адмирала Колчака.

Бабушка русской революции Е. К. Брешко-Брешковская тоже не все одобряла из того, что делалось в Омске и тоже давала по пути в Америку интервью, но была гораздо сдержаннее в оценках и, не будь она десятки лет связана с партией социалистов-революционеров, она, наверное, публично признала бы, что не сомневается в благородных намерениях Адмирала. Все героическое всегда находило отклик в сердце этой удивительной старухи, всей своей бурно-пламенной жизнью доказавшей, на какие жертвы и подвиги способна русская женщина, когда она служит идее.

В хлопотах по реорганизации Бюро, когда приходилось работать с 8 утра и до полуночи, я не придал должного значения вопросам, которые мне несколько раз задавали разные лица: был ли я у министра финансов И. А. Михайлова? Я не только мог у него быть, но даже хотел ему представиться — так много о нем ходило в Омске самых интригующих для журналиста слухов. Но у меня не было повода к этому, и я вовсе не считал, что обязан по должности ему представляться, поскольку не был ему подчинен и даже смету свою проводил через управление делами Совмина, а не непосредственно у Минфина.

И, вдруг, однажды, в двадцатых числах января, Манкевич меня спрашивает:

— Вы до сих пор не были у Михайлова? Быть не может! Это может кончиться для вас трагически! Он и то уже про вас спрашивал...

Действительно, «глаза» Михайлова в Омске преследовали вас всюду. Вот именно эти его глаза. В прямом смысле слова! О них в Омске много говорили. Они были ясно светлые, не то голубые, не то серые, они смотрели настойчиво и казались видящими все. Потом, в Харбине, И. А. Михайлов проделал на моих глазах довольно разнообразную карьеру, но, об этом здесь нет смысла говорить, как без документов под руками у меня нет оснований подробно останавливаться на всем том, что в Омске говорилось про Михайлова, начиная с убийства Новоселова и кончая тем, что именно он был главной действующей пружиной в гибели Директории, появлении у власти адмирала Колчака и во всех последующих заговорах, интригах, возвышении одних и падении других. Наряду с исступленными противниками, у Михайлова в Омске были горячие поклонники.

Он от природы был наделен редким даром привлекать на свою сторону нужных ему людей, и умея заставить их работать на себя так, что те эту работу почитали за великое счастье. Эмиграция за 15 лет ничего не дала Михайлову, кроме разочарований, но не будь у нас революции он, при всех обстоятельствах, сделал бы головокружительную карьеру. Трудно отрицать его склонность к использованию политической интриги, он внимательно читал Макиавелли, но можно смело засвидетельствовать, что он не был в Омске повинен и в десятой доле тех политических авантюр, которые приписаны ему не только стоустой молвою, но и всеми, кто писал об Омске мемуары.

Прежде чем я пошел к Михайлову представляться, я уже знал, что он родился в карийской каторжной тюрьме, будучи

сыном известного народовольца Адриана Михайлова и будучи, как яко бы он сам говорил, самым юным на каторге. Эта случайная и, в условиях исторического прошлого России, отнюдь не позорная связь его с политической каторгой от рождения, психологически, однако, много способствовала созданию той репутации Цезаря Борджия, которой Минфин пользовался в Омске. Известно мне было также предание, может быть апокрифическое, при каких обстоятельствах ему пришлось уйти из Читинской гимназии, до окончания. Генерал-губернатор А. Н. Селиванов, отличавшийся нарочитой грубостью, проходя в Чите по фронту, выстроенных для встречи гимназистов, вдруг, будто бы, остановился против маленького Михайлова, который был в 7-ом или 8-м классе, и спросил его: «Ну, а ты, что обо мне думаешь? Михайлов будто бы ответил остроумной дерзостью… Легенда казалась правдоподобной, потому что Михайлов и впрямь отличался умением парировать словесные удары. Пришлось сдавать экзамен экстерном.

Далее, — Михайлов, по окончании Петербургского университета, был оставлен для подготовки к профессорскому званию по кафедре политической экономии. Под руководством академика П. Б. Струве в годы войны он опубликовал две работы, в частности: «О государственных расходах и доходах России за время войны». Он был секретарем А. И. Шингарева и с ним участвовал в поездке членов Государственной Думы во время войны в Англию. После февральского переворота 1917 г., состоял в Петрограде управляющим делами экономического совета при Временном Правительстве. Но не в этих фактических данных биографии, тоже по своему интересной, было своеобразное обаяние имени 29-летнего министра финансов, которого считали самым влиятельный человеком в державном Омске. Обаяние питалось уверенностью, что в Михайлове, как в фокусе перекрещиваются все течения, интересы и интриги, которыми жила омская власть.

Совершенно открыто говорили о «группировке Михайлова», она существовала даже в рядах совета министров. Говорили, что только один Михайлов разговаривает с адмиралом Колчаком, как равный с равным и не считает, что он у него служит. Во всем этом было много преувеличения и разговоры эти носили характер Обывательской сплетни, но свое воздействие на умы они оказывали. Я тоже был убежден тогда, если не в том, что Михайлов всесилен, то во всяком случае в том, что стоит Михайлову захотеть и я буду немедленно «изъят из обращения». Поэтому я решил отправиться прямо в пасть к чудовищу со светлыми глазами.

Я недолго ждал в министерстве финансов приема и обратил внимание на то, что обставлено это министерство было лучше других. Оригинально было и то, что в кабинет министра меня ввели не сразу из приемной, а каким-то извилистым путем, через коридор и канцелярии, — предосторожность не лишняя во время гражданской войны в отношении сановника с такой репутацией, какая в Омске была у Михайлова.

Его кабинет был воистину министерским: лучше, чем у Сукина, Тельберга и даже у самого премьера. До сих пор помню массивные кресла, обитые светлым кретоном и модного рисунка. Министр финансов был одет во френч военного образца, брюки галифе и на ногах имея простые, но аккуратные сапоги. Он был видом очень светел, выглядел еще моложе своих и без того молодых лет, был не по-министерски подвижным, а глаза его оказались именно такими, какими я их себе представлял по разговорам: чуть на выкате, настойчивые, какой-то странной прозрачности, не то голубые, не то серые глаза.

Я не помню, о чем мы с ним тогда говорили, в эту нашу первую встречу, за которой последовали сотни, а, может быть даже, и тысячи других встреч в разных городах, в разные

годы и при разных обстоятельствах. Во всяком случае, ни о чем особенно серьезном мы не говорили.

Он, кажется, интересовался, как у меня налаживается дело осведомления заграницы о работе омского правительства и в эту или в следующую встречу сообщил мне с удовлетворением, что мы удачно передали его выступление в правительстве при прохождении бюджета. Радио из Бордо эту нашу телеграмму с цифрами, которыми ловко играл министр финансов, распространило потом по всему свету и мы ее получили обратно, так сказать; после путешествия кругом света точно в том же виде, как отправили, без всяких сокращений. Я запомнил голос Михайлова, голос совсем не для публичных выступлений с политической трибуны или кафедры, запомнил навсегда его манеру говорить быстро, но с поразительной четкостью, запомнил его молодые белые зубы и хохолок светлых волос над высоким чистым лбом; этот хохолок он любил, время от времени, трогать однообразным, характерным движением руки.

Михайлов был, конечно, и умен, и талантлив, и энергичен. Ему нравилось быть в водовороте больших событий, он наслаждался возможностью творить политику и играть судьбой людей, которых прихоть революции заносила в сети его влияния. Был ли он опытен в вопросах финансовой политики, позволительно сомневаться. Но и до него и после него, часто в мировой истории люди, далекие от финансовой науки устраивали финансовые перевороты, достаточно вспомнить крушащие действия президента Ф. Рузвельта весной 1933 года.

Серьезным конкурентом Михайлову считался Феодосьев, не только потому, что он был министром до революции, но и потому, что за ним еще в Петрограде упрочилась репутация способного финансиста.

Но карта Феодосьева была бита, когда в январе 1919 года, на одном из первых заседаний государственного экономиче-

ского совещания под председательством Адмирала, Феодосьев не сдержался и, вместо обоснованной критики финансовой политики правительства, стал мелко критиковать Михайлова и, в бюрократическом раздражении, сделал намёк, что у министра финансов руки в крови.

Михайлов мастерски отпарировал этот удар. После долгих речей членов совещания, он, рядом толково изложенных фактов, опроверг обвинения Феодосьева в том, что печатание денег поставлено неумело, что выпускаются деньги только крупных купюр, а, потом, с едва заметной иронией рассказал собравшимся, как ездит он каждое утро в экспедицию заготовления государственных бумаг и так как знаком с печатным делом, то сам прикладывает руку к печатанию денег, и если его руки в чем замараны, то только в типографской краске. Здесь была и игра слов: под типографской краской можно было подразумевать наскоки на Михайлова полулегальных изданий, которые тоже звали Минфина убийцей и на информацию которых положился царский сановник.

В дальнейшей вопрос о замене Феодосьевым Михайлова уже не поднимался. Когда Михайлову пришлось уйти от власти, осенью 1919 года, его сменил Л. В. фон-Гойер.

Но эта ремарка высокого петербургского сановника в ответственной государственном совещании, в присутствии носителя верховной власти, в адрес министра финансов, на счет крови на руках, обвинения никак недоказанного и как будто бы все-таки вздорного, служит прекрасной иллюстрацией как мало было не то, что доброжелательства, но даже просто элементарной терпимости друг к другу среди тех, кто творил в Омске политику.

Внешняя политика

Прежде всего, о том месте, где она творилась. В дипломатии не только человек красит место, но и место человека. Недаром так часты метонимии во всех писаниях по вопросам внешней политики: вместо французского министерства иностранных дел любят употреблять определение «Кэ Д'Орсай» вместо германского — «Вильгельм Штрассе», английского — «Даунинг Стрит», а про старый русский центр внешней политики говорили « у Певческого Моста».

В омском министерстве иностранных дел мне приходилось бывать буквально ежедневно, приблизительно между 10 и 11 часами утра, на докладе у министра. В самом начале это был проф. Г. К. Гинс, а потом И. И. Сукин, который стал, затем, официально именоваться «управляющим министерством», для того, чтобы доминировать над остальными товарищами министра. Общее руководство внешней политикой белых фронтов было предложено С. Д. Сазонову, который находился в Париже. К назначению Сазонова французское правительство отнеслось весьма благоприятно.

С одной стороны омская власть все время претендовала на то, чтобы рассматриваться властью всероссийской, а, с другой, в Омске не было ни архива, ни фактического запаса всех тех данных, которыми должен располагать глава ведомства внешних сношений, когда он говорит с представителями иностранных государств: что знали в Омске по польскому вопросу, о Финляндии, на счет сил, содействовавших отделению от России Латвии, Эстонии и т. д.? Сазонову, как министру иностранных дел омского правительства в Париже, было легче справиться с делом ознакомления правительств Антаны по указанным вопросам, тем более, что центр мировой политики находился в это время в Париже, где работала Версальская конференция.

Единственная дипломатическая проблема, которая должна была быть конкретно решена в Омске, это вопрос об ориентации или на Японию или на Америку.

Наибольшую активность в Омске проявляли, как выше подчеркивалось не раз, представители Англии и Франции, между тем реальная помощь могла бы последовать как раз не от них, а от Японии и Америки. Япония двинула в пределы России на ее дальневосточную окраину солидные кадры своих сухопутных сил и упрочила свою позицию в Забайкалье. Америка, которая была люба сердцу всех демократических элементов, рассматривалась, как будущий покровитель свободной демократической России и в особенности Сибири, если та, ходом исторических событий, станет все-таки автономной. От Америки наивно ждали если не хлеба, то всего прочего: машин, с.х. орудий, тракторов, автомобилей, рельс, локомотивов, аэропланов, обуви, мануфактуры, всего, что трудно было достать в 1918–1919 гг. в Сибири, и что, казалось, вдосталь имеется в Америке. Далее, было известно, что Америка не претендует и претендовать не может на территориальные захваты.

К Японии в Сибири относились если не с опаской, то с недоверием. Борьба шла за «великую, неделимую», а еще свежи были на памяти взрослого населения переживания в связи с поражением России в 1904–1905 гг. Многие военные дальновидно стояли за безоговорочный союз именно с Японией, но штатские политики рассуждали, что лучше опираться на общесоюзную помощь и, во всяком случае, играть на соперничестве Соединенных Штатов с Японией.

Далее, трезвое решение по указанному вопросу, по крайней мере, в широких кругах омской общественности, затруднялось позицией, которую представители японского командования на русском Дальнем Востоке заняли в отношении поддержки сепаратистской политики ат. Семенова в Чите.

Омское министерство иностранных дел отлично понимало, что политика Японии в России не может быть схожей с ее политикой в Китае. Министерство знало, что в Японии «так же, как в любом государстве, существуют различные партии, исповедующие различные убеждения. Крайняя правая военная партия и левая оппозиция соперничали в решении сибирского вопроса. Японский народ проникнут глубоким национальный чувством, но из этого чувства не вытекает неизбежно желание захватить русские области, увеличить территорию за счет заболевшей революционный процессом России».

Как правильно расценивал положение Гинс присоединение Сахалина, с его богатейшими запасами угля и нефти, и района Николаевска-на-Амуре, как ключа к рыбным богатствам — это могло быть несомненным реальным интересом Японии. Но не меньшим интересом уже тогда для Японии являлось устранение большевистской заразы из Сибири, восстановление в ней порядка и возобновление торговых сношений. Задача русской политики должна была заключаться в определенной помощи с одной стороны и определенной компенсации с другой. Гинс признавал, и я, как человек, прибывший в Омск с Дальнего Востока, был с ним согласен в том, что японская ориентация была бы не союзом агрессивного характера, а признанием безусловной необходимости в согласованных действиях двух наций. Кроме того, умелая, продуманная японская ориентация, автоматически выбивала скамейку из-под ног дальневосточных сепаратистов.

Но И. И. Сукин, взявший с конца января бразды правления в министерстве иностранных дел в свои руки, — Гинс заболел сыпным тифом, и надолго был выведен из строя, — думал несколько иначе. В Омске Политические круги его определенно заподазривали в ярко выраженных американских симпатиях и, в этом отношении, были не далеки от истины. Во всяком случае, на суде, устроенном советской властью в Омске после

падения власти Адмирала над омскими министрами, не только Сукина, но и пишущего эти строки обвинение называло «агентами американского империализма».

Если провести параллель между Гинсом и Сукиным, то первый должен быть квалифицирован, как дипломат-общественник, а второй, как дипломат-техник. Чиновником и только Сукина никак назвать было нельзя: не потому только, что еще до Омска он проделал блестящую для его молодых лет карьеру, но и потому, что он поражал умением разбираться в международной обстановке, умел ярко и убеждающе излагать свои мысли, отлично владея языками, знал в совершенстве кухню дипломатии и обнаружил выдающиеся дарования политика. В Омске он быстро завоевал поддержку адмирала Колчака, на первых порах полную, был своим человеком в Ставке, установил, по началу, тесный контакт с Михайловым и держался со всеми иностранными дипломатами, как равный с равными, на дружеской ноге.

Гинс был сдержан, вдумчив, умел отмолчаться, не бросал слов на ветер, в писаниях своих был гораздо ярче, чем при личном общении. Сукин мог покорить сразу. Впрочем, он иногда сразу против себя и восстанавливал.

Как и Михаилов, он был небольшого роста, гардероб вывез из Америки, носил большие американские роговые очки и любил элегантность: элегантно подстригал усики, элегантно, с нарочитой небрежностью, вынимал и затыкал обратно в боковой карман пиджака носовой платок, ногти имел полированными, курил элегантные египетские сигареты, хотя иногда по-мальчишески кашлял от них и обжигал ими элегантные пальцы. Душился, впрочем, не сильно, слегка пудрился после бритья, отлично играл на рояле и, вообще, служил объектом подражания для молодых чиновников министерства и предметом разговоров у барышень не только у себя в министерстве, но и в Совмине.

Сукин был немножко надменен, был большим оптимистом, главным образом потому, что был на все сто процентов уверен в себе, было в нем что-то хлыщеватое, что, конечно, прошло с годами. В нормальных условиях он мог сделать большую карьеру, если бы преодолел в себе снобизм, который особенно резал глаза из-за миниатюрного роста кандидата в омские Талейраны. В отношении меня Сукин всегда был подчеркнутой любезностью, никогда не повысил голоса, ни разу даже не проявил своего неудовольствия. В общем, с ним было бы легко работать, если бы он куда-то постоянно не торопился.

Гипс, не сильный тогда в дипломатической технике, сугубое внимание уделяя общественной стороне дипломатии — давал интервью, сам составлял телеграммы информационного характера. Сукин же, главным образом, работал технически: ноты, меморандумы, дипломатические встречи, визиты, приемы, все спорилось под его элегантными руками, которые в часы отдыха так мастерски бегали по Клавишам рояля. Этот подтянутый и с холодком европеизм или американизм Сукина вряд ли давал ему возможность заглянуть вглубь того сложного и кровавого процесса, который называется водоворотом революции.

Гинс, вступив в управление министерством, тотчас дал пространное интервью о сущности современной дипломатии.

Это интервью привело в полный восторг директора бюро печати А. И. Манкевича, все никак не могшего успокоиться после свержения Директории.

В своем интервью Гинс подчеркивал, что наши дипломатические успехи зависят сейчас меньше всего от искусства дипломатических переговоров. Первый наш дипломат — армия. Второй по значению дипломат — это общественная солидарность. Третий дипломат — это могущественная печать. Она выражает настроения и чаяния народа.

Вступив после Гинса в управление министерством, Сукин никакого интервью не дал. Вообще я не помню, чтобы он давал какие-либо интервью для русской печати. Этой привилегией пользовались у него исключительно иностранные корреспонденты, которые к нему имели свободный доступ, днем и ночью.

Но за то он сейчас же приступил к переговорам с представителями союзных держав на счет путей признания Омска Антантой, организации представительства в Версале, на счет восстановления транспорта, об охране железных дорог, при чем добивался, чтобы американцам была поручена охрана железнодорожных туннелей, на что адмирал Колчак резко не согласился. Надо было Сукину также выяснить роль ген. Жанена, разрешить вопросы о положении поляков, сербов, румын и др., вопрос о военнопленных и, кроме того, надо было поддерживать постоянные сношения с представителями довольно капризного чешского командования и с д-ром Павлу.

Представители Антанты много говорили о помощи, но сами не знали, как взяться за организацию этой помощи. Определенного плана у них не было, сокровенной сути происходящих в России событий многие из них до конца не усваивали, большинство из них так устало душою от великой войны, что, после заключения перемирия 11 ноября 1918 года мечтало лишь о законном отдыхе, а здесь, как будто, все приходилось начинать сначала. Если бы союзные дипломаты могли еще смотреть на Сибирь, как на возможную для них колонию и обращаться с русскими, как принято обращаться в колониях с местным населением — они следовали бы испытанным образцам колониальной политики. Но тут перед ними был сложный и противоречивый феномен кровавой революции и гражданской войны, они знали, что те, кто боролись с большевиками, имели право не только просить, но даже требовать от союзников помощи, их давили пространства Сибири, их обескураживала пестрота политических

группировок, их утомляла эта смена и противоречие мнений, отсутствие элементарного единства в белом стане и от попыток что-то понять и в чем-то разобраться они потом переходили к политике с laissez faire, laissez passer» или еще худшей: «why worry?».

В их распоряжение были предоставлены или они сами требовали для себя лучших вагонов, преимущественно Международного Спального Общества, они путешествовали в собственных поездах, даже не с одним, а с двумя, подчас, вагонами-ресторанами, они посещали Верховного Правителя, премьера, министерство иностранных дел, Ставку, сидели за банкетными столами, устраивали иногда приемы у себя, они совещались, разговаривали, при случае жуировали, получали колоссальные командировочные и, в сущности, по праву чувствовали себя посторонним элементом в той тревожной и путаной обстановке, которая всегда характеризует тыл междоусобных войн.

Винить омских представителей Антанты, тем более не приходится, что в Европе и даже в верхах Версальской конференции тоже не знали, что же, в конце концов, делать с Россией — душить ли большевиков, как предлагали Черчилль и Клемансо, вооруженной интервенцией или пригласить и белых и красных сговориться между собою, к чему склонялись Ллойд-Джорж и Вильсон.

Результатом этой общей неразберихи и путаницы в усталых умах явилось знаменитое приглашение на Принцевы Острова. Адмирал Колчак понял сразу его зловещий для белой борьбы смысл:

— «Господа, ведь это — предложение мира с большевиками, — сказал он, ознакомившись с текстом радиограммы 25 января во время доклада по министерству иностранных дел». Точно также воспринято было это радио и в нашем иностранном бюро печати. Мы чувствовали, как почва уходит из-под наших ног. Из министерства мне был передан приказ

задержать радио для опубликования, впредь до указаний лично от Адмирала.

На следующий день, в воскресенье 26 января, у адмирала Колчака собрались высокие комиссары: Франции — Реньо, приветливый старичок и Англии — мрачный, неразговорчивый сэр Чарлз Эллиот. Они сами были смущены и озадачены. Реньо все-таки просил Адмирала, до получения подробных разъяснений из Парижа, не отказываться резко и сразу от сделанного предложения. К нему присоединился и Эллиот. Адмирал блестяще вышел из положения: он ответил, что не считает полученное радио предложением, и, так как оно неясно по содержанию, в виду некоторых искажений, то он вовсе не будет на него отвечать. Он сделает только одно: отдаст приказ по войскам, что разговоры о перемирии с большевиками распространяются врагами России и что он готовится к наступлению. Это будет не ответ правительства, а приказ главнокомандующего.

Печать в тот же день получила возможность огласить радио с предательским предложением. Комментарии были единодушны. Но свое разлагающее впечатление приглашение на «Собачьи острова» сделало.

Г. К. Гинс вспоминает в своей книге, что адмирал Колчак, после отъезда Реньо и Эллиота, мрачно заметил:

— «Что вы скажете об этих союзниках?»

Через год приблизительно, на допросе в тюрьме у советского комиссара в Хабаровске по иностранным делам, я услышал тот же вопрос:

— Что же вы думаете, союзнички вас предали теперь, когда они нам выдали Колчака или тогда, когда они вас приглашали разговаривать с нами на Принцевы Острова?

Объективно на этот вопрос может ответить только отдаленная история.

Омск снаружи

Никогда прежде и, наверное, никогда в своем будущем Омск не сможет походить на тот бурливый муравейник, которым он был зимой 1918 и летом 1919 года, являясь центром белой власти, старавшейся укрепить свой престиж от берегов Камы и даже Волги, на Урале, через всю Сибирь, Западную и Восточную, вплоть до русских областей Дальнего Востока, включая Амур, Приморье, Камчатку и Сахалин. И никогда, ни прежде, ни после, Омск не будет столь колоритно красочным, как в описываемый период, когда население его доходило до шестисот тысяч, когда одних офицеров числилось, по спискам комендантского управления, чуть не с десяток тысяч, в воинских частях и по канцеляриям, когда в Омске проживала вся интеллигенция, дворянство, профессора, торговый класс, духовенство из Казани, Самары, Симбирска, из Перми, Уфы, а, потом, Екатеринбурга, когда в Омске были представители воинских частей и дипломаты чуть ли не половины Европы.

На Любинском проспекте, где по праздникам на тротуарах двигалась стеной шумящая толпа, можно было встретить кого угодно: довольные собой, отъевшиеся чехи, в своих характерных болотного цвета шинелях, английские солдаты, шагавшие стаями в поисках случая познакомиться с местными жеманницами, французские офицеры, итальянцы из военной миссии в своих на редкость эффектных формах, отдельные японские солдаты, понаехавшая публика из Америки, как их в Омске звали тогда — «американские мальчики», в неизменных черепаховых очках, с догола пробритыми подбородками: солдаты вновь формируемых национальных частей — поляки, румыны, сербы: «все промелькнули перед нами, все побывали тут»...

Но больше всего было, конечно, русских воинских шинелей, начиная блестящими, до пят, шинелями кавалерийского

образца, в которых любила щеголять офицерская молодежь, главным образом из числа тех, кто не особенно торопился подаваться на фронт, и кончая потрепанными шинелишками тех незаметных героев, на доблести и жертвенности которых, в сущности, и держалась вся эта мишурная внешность временной столицы.

Как-то особенно много развелось в это время в Омске барышень-машинисток; их, во всяком случае, было гораздо больше, чем пишущих машинок, а последние, в большинстве случаев, работали без лент, стучали на них в слепую; «читабельный» оттиск получался только через копирку. О, эти омские пишущие машинки — свезенные сюда со всех концов восточной России, самых странных и причудливых, чаще всего доисторического образца, — марок. Но, что поделать: именно в это время стал ходячим афоризм, что для того, чтобы создать правительство, надо, по крайней мере, иметь пишущую машинку.

Барышни при пишущих машинках населяли омские канцелярии тысячами, и являлись самым прочным и, если угодно, самым дееспособным элементом: мужчины приходили и уходили, то их повышали по службе, то перебрасывали в другой отдел, то просто призывали в армию. Барышни оставались, все знали, все исполняли, несмотря на грошовые оклады, ухитрялись быть кокетливо одетыми и даже пудрили, неизвестно чем и довольно часто свои хорошенькие носики. За ними все ухаживали, не говоря уже про сослуживцев, на перебой все иностранцы, водили их в кафе, угощали кинематографом, потому что, несмотря на все ужасы междоусобной войны и лицемерные сокрушения тех, кто и до сих пор упражняется в желании очернить все, что было и что делалось в Омске, жизнь там текла нормально, и в этой нормальности обывательской жизни державного Омска, несмотря ни на что», было главное доказательство того, что Белое Дело было делом правым и белая власть хотела, прежде

всего, вернуть Россию к нормальной жизни. Поэтому мне нисколько не стыдно вспоминать даже мелочи омской жизни, нисколько не стыдно сохранить для потомства то, что мы не только работали и волновались, кипели верой и боролись, как умели, но и ходили в гости в свободную минутку, гуляли по Любинскому проспекту, сидели в кафе, пили ликер, когда больше было денег в кармане, и даже раз ваш покорный слуга вместе с директором РТА (Российского телеграфного агентства) участвовали в пикнике на пароходе, ходившем верст за двадцать пять от Омска в сторону Тары и на этом пароходе в тот пикник, в летний погожий день, находился, вместе со всеми на палубе, председатель совета министров П. В. Вологодский со всей семьей, никем не охраняемый и даже не возбуждавший к себе никакого особенного внимания. Ну-ка, вы, осуждающие, до сих пор критикующие и даже поносящие память белого Омска, попробуйте представить себе в тот самый 1919 год в Москве, Ленина, Троцкого, или Свердлова, которые рискнули бы этак запросто без всяких телохранителей, среди случайной публики, прокатиться пикничком для отдыха в воскресный день, на большом пассажирском пароходе. Во всем этом не слабость была Омска, а сила его, вернее, сила той идеи, которая превратила Омск на полтора года в базу борьбы с советской властью, несмотря на то, что советская власть владела столицами России, а по жестокому закону истории окраины за редкими исключениями не в силах победить центр.

В моей памяти до сих пор стоит, как живая, панорама Любинскаго проспекта, кипящего напряженной жизнью, главной артерии внезапно разбухшего города, и в перспективе четко рисуется квадратная вышка «Совмина», над которой то лениво плескается, то гордо реет трехцветный флаг, и белые пароходы на Омке жмутся парами к суетливым пристаням и, еще дальше, — «домик на Иртыше» или, как тогда некоторые пытались называть: «дворец Верховного Парителя».

Потом вспоминается, в разгар успехов омской власти, пасхальная заутренняя 1919 года в кафедральном соборе, очень торжественная, очень величавая, день, когда Верховный Правитель принял пожалованный ему орден Св. Георгия 3-ей степени и когда, потом, генерал Жанен, во главе огромной свиты, этак человек пятнадцать вместе с ним, визитировал: был у Адмирала, был у военного министра и нагрянул к начальнику главного штаба ген. Марковскому, как раз тогда, когда я там был.

Было странно видеть этого эффектного французского генерала в парадном мундире и с орденами на груди, которого уже тогда не любили в Омске и который христосовался по православному обряду. Усы генерала благоухали шипром. Он с отменным удовольствием попробовал рюмку действительно замечательной старой водки, смирновки, прозрачной как слеза, которую богачиха Шанина послала для пасхального стола в дом Верховного Правителя, ген. Степанову и И. В. Марковскому.

И в тот же день, первый день первого и последнего Воскресенья Христова для державного Омска, когда от Марковских я возвращался домой, мимо меня по Любинскому проследовал большой, длинный защитного цвета, открытый автомобиль. Сначала я посмотрел на плавно и неспешно двигавшийся автомобиль этот безучастно, но, вдруг, мгновенно замер от волнения: впереди у руля, рядом с солдатом-шофером сидел ординарец, а, сзади, один на сидении, находился:

— Адмирал Колчак.

С тротуара до автомобиля было не больше десяти шагов, но Верховный Правитель ехал без всякой охраны. Какой другой диктатор, в зените своих успехов, в разгар беспощадной войны, при этом войны гражданской, когда по внешности нельзя отличить друга от недруга, а каждый недруг есть заклятый враг, какой другой диктатор рискнул бы совершить

такую прогулку по улицам, переполненным в праздничный день толпою, в городе, где советские агенты кишмя кишели и скрытых недоброжелателей было не перечесть...

Не только в этот день, но и долго потом я находился под впечатлением этой случайной, но так пронзившей мое сознание встречи.

Суррогат Парламента

В колчаковском Омске не было и не могло быть парламента — прежде всего потому, что обстановка и атмосфера гражданской войны не допускают парламентарных форм управления. Идея народоправства у нас вообще не пустила глубоких корней в сознании более или менее широких масс, Государственная Дума и та, в сущности, по настоящему интересовала только общественные верхи, была близка сердцу интеллигенции и либерально настроенного чиновничества. Эта идея была мгновенно скомкана и дискредитирована ходом революционных событий. Государственная Дума превратилась в фикцию, Петроградский предпарламент напоминал трагикомический фарс на фоне, забиравшего все большую власть, совета рабочих и солдатских депутатов, а что касается Сибирской Областной Думы, то одно уже ходячее определение ее, как «Сиболдумы» доказывает, что об ее популярности или влиянии в массах нечего и говорить.

Активными элементами на просторах России к 1919 году были или те, кто, сознательно и убежденно, а, следовательно, и ожесточенно сжимали в руках оружие, им импонировала только диктатура справа — в душе они, конечно, были монархистами; или те, кто верил в вольницу большевистского разгула, ненавидел старый режим, во всех его проявлениях, и считал белую власть и белое движение попыткой «помещиков, генералов и попов» восстановить то, что было свергнуто революцией. Между этих двух полюсов конденсированного социального электричества всякая попытка возрождения хотя бы видимости демократических форм управления, таяла как, воск на тоненькой свечке. И, все-таки фатально получалось так, что белая власть не могла обходиться хотя бы без фикции парламентаризма — ей самой нужен был этот защитный фон — тогда ведь и в мыслях никто не имел, что родится идея фашистской диктатуры в противовес диктатуре

пролетариата и начнется мучительный и длительный процесс затухания идеи формальной демократии. Кроме того, союзники, Антанта, тот синедрион в Версале, который возглавлялся Вильсоном, Клемансо, Ллойд-Джорджем и признания которого фатально искали белые вожди, требовал от них, как первое условие официального благорасположения, демократической внешности.

Есть оригинальная книжка французского аристократа и политического деятеля Де-Монзи, имя которого навсегда связано с пионерством в смысле признания буржуазным и капиталистическим миром советского государства. Называется она: «В Россию и обратно» (От Кремля до Люксембургского Дворца). Писалась книжка в 1924 году. Но одно место в ней продолжает быть остро интересным для нас и посейчас — место, где сей сенатор и титулованный большевизан, человек бесспорно большой европейской культуры и вероятно не плохой сын своей родины, расценивал отношение Европы к царству рабоче-крестьянской диктатуры. Вот его тезисы: стр. 12–13.

«1. 1917 год: Мы предупредительно спешим признать национальные государства, впопыхах создавшиеся на обломках России. 5 января 1918 года мы признаем Финляндскую Республику, правители которой 9-го октября 1918 года предлагают корону Финляндии Фридриху Карлу Гессенскому, ближайшему родственнику Вильгельма II.

«2. Январь 1919 года. Мы приглашаем для мирных переговоров одновременно и представителей большевистского правительства и делегатов балтийских стран, а также делегатов групп, какие находятся в войне с вышеназванными правительствами. По поговорке: чем больше будет весельчаков, тем больше будет смеху... над мирными переговорами.

«3. 12 июня 1919 года союзники, по инициативе Франции, признали де факто возникшее в Омске правительство Колча-

ка, хотя последнее отказалось признать независимость балтийских государств, нами уже признанных.

«4. 6 февраля 1920 года, Мильеран, председатель совета министров и министр иностранных дел, определил наше отрицательное отношение к русскому большевизму. Он гарантировал военную поддержку Франции всем признанным нами де-юре и де-факто правительствам, — на случай, если им будет угрожать красная Россия, с которой мы никаких дипломатических отношений иметь не будем.

«5. Два месяца спустя, 20 апреля 1920 года, французский консул г. Дюшен, подписывает с Литвиновым в Копенгагене одну из тех конвенций о возвращении на родину пленных, какие обычно являются прелюдией к конвенциям торговым и дипломатическим.

«6. В том же году, 11 августа 1920 года, охваченное противоположными настроениями, французское правительство — на этот раз только оно одно — признает, в качестве фактически существующего правительства, генерала Врангеля».

Упрек в шаткости позиции, конечно, справедлив, но отнесен он должен быть не только к Франции, но и к Англии, где сначала согласились, а потом испугались принять Государя и его Семью, равно как и к Америке, которая послала свои войска на русский Дальний Восток участвовать в возрождении национальной России, а эти войска держали скандальный нейтралитет между белыми и красными, втайне симпатизируя больше тем, с кем должны были сражаться.

Во всяком случае, и тезисы, цитированные выше, подтверждают, что, имея монархическую сущность белая власть, внешне, при этом вполне искренне и уж во всяком случае, честно, обещала и созыв национального учредительного собрания, и верность принципам народоправства и идеалам демократии. Нам казалось это совместимым, широк русский человек, недаром Достоевский все хотел его сузить, но сторонние наблюдатели оставались при особом мнении.

После обновления личного состава совета министров весной 1919 года, после ухода военного министра Степанова, после замены министра внутренних дел Гаттенбергера, В. Н. Пепеляевым, а министра юстиции Старынкевича профессором Тельбергом, министра просвещения Сапожникова Преображенским, после того, как вынужден был уйти в отставку Н. С Зефиров, а портфель министра торговли был передан Михайлову и тот стал «министром в квадрате», власть почувствовала острую необходимость подвести под себя ту или иную общественную базу. Сначала выдвинули идею учреждения Государственного Совета, но от этого названия слишком пахло реставрацией. Истерически настроенный адвокат Жардецкий, вхожий к Адмиралу, разработал проект законосовещательного органа, который он предлагал назвать «Совет Верховного Правителя», но восторжествовала, как всегда, половинчатая идея развернуть уже существовавшее Государственное Экономическое Совещание в предпарламент путем включения в его состав выборных представителей земств, городов, кооперации, профессиональных союзов и путем расширения сферы его компетенции.

Торжественное открытие работ Государственного Экономического Совещания в его полном составе состоялось 19 июня 1919 года, в зале судебных установлений. На трибуне помещался стол президиума, слева от него был столик, кафедра для ораторов, внизу расположился секретариат, прямо пред секретариатом поставили стулья для членов совета министров, слева, сразу от возвышения, находились кресла для чинов дипломатического корпуса, справа, около министров, сидели мы, руководители к этому времени уже полностью развернутого, Русского Бюро Печати, а центр зала занимали члены Государственного Экономического Совещания, и за ними, за барьером, находилась немногочисленная публика, в большинстве или близкие к правительству люди или высшие чины министерств. Церемониал торжества от-

крытия был довольно удачно разработан и произвел импонирующее впечатление не только на своих, но и на «знатных иностранцев». Детали этого дня (торжество происходило часов около четырех) до сих пор свежи в моей памяти.

До приезда Адмирала я беседовал с И. А. Михайловым. Мне было известно, что в церемониймейстерской части шел страстный спор завешивать или не завешивать огромный, во весь рост, портрет Императора Александра II, который, как творец эпохи судебных реформ, имел все основания осенять своим изображением залу заседаний судебных установлений. Но портрет Императора, хотя бы и давно почившего, мог быть неблагоприятно истолкован некоторыми высокими иностранными представителями, заботившимися о «демократическом лике» омской власти. В конце концов, все-таки возобладала точка зрения: портрет не снимать и не завешивать. И вот Минфин Михайлов, со свойственным ему проворным говорком, бросил полушутливо в нашу «ложу» печати, ремарку: — «Адмирала посадят как раз под портретом жертвы террора. Нет ли в этом провиденции?» Он сказал это, может быть, и случайно, но я его слова воспринял очень серьезно, мне они показались зловещими и, как вскоре оказалось, это предсказание сбылось на берегах Ангары.

Верховного Правителя встретили почетным караулом — кажется, это была часть из личного конвоя, подтянутые, молодцеватые интеллигентного вида солдаты. Адмирал быстро прошел к трибуне, сел за стол, крытый зеленым сукном и объявил заседание открытым. Я в первый и последний раз видел его в этот день говорящим публично. Кажется, он не читал своей речи, во всяком случае, голова его не была наклонена к бумаге. Он говорил глухим, энергичным, немножко осевшим по-морскому голосом и четко, ясно строил и округлял фразы. Помню начало его речи наизусть:

— «Господа члены Государственного Экономического Совещания! 18 ноября я принял бремя верховной власти, 22-го

ноября я созвал первое экономическое совещание и поставил ему задачей одеть и обуть нашу армию.

В зале стояла напряженная, как бы звенящая тишина. Верховный Правитель продолжал:

— Первая задача, которую я ставлю экономическому совещанию — это решение вопросов снабжения нашей армии и обеспечение экономического положения участников борьбы. Второй вопрос — бюджет. Разбор бюджета государства даст возможность оценить работу власти. Третий — оплата труда. В разрешении вопроса земельного, одного из сложнейших вопросов, которые приходилось государству решать, я также ожидаю помощи от Государственного Экономического Совещания».

По правую руку от Адмирала сидел председатель совещания Г. К. Гинс, по левую председатель совета министров П. В. Вологодский. Они оба, потом, произнесли речи и оба начали свои речи обращением: — «Ваше высокопревосходительство, Господин Верховный Правитель!» За ними и все последовавшие ораторы употребляли ту же форму обращения, за исключением представителя одного из казачьих войск, который подчеркнуто начал свое слово без «высокопревосходительства» и назвал Верховного Правителя «гражданин». Оригинально и знаменательно было то, что этот демократический оратор был единственным из выступавших в военной форме.

Г. К. Гинс начал свою речь с подведения итогов: — «Открытие работ Государственного Совещания совпадает с годовщиною образования в Омск ядра центральной власти — отделов Западносибирского Комиссариата, которые преобразовались затем в министерства, сначала Сибирского, а впоследствии Всероссийского правительства. Это был исторический момент, когда смелость и самопожертвование подали одна другому руку и творили чудеса. Правительство не располагало тогда армией, оно имело только добровольцев. Не было власти и

порядка на местах. Земские самоуправления, впервые появившиеся в Сибири в конце 1918 года, были разогнаны большевиками. Казна была ими ограблена — государство не имело достаточного количества денежных знаков и не имело возможности их выпускать».

Это Государственное Совещание существовало довольно долго — в нем скоро создались свои группировки, были и интриги, даже стулья в зале старались расположить на манер Государственной Думы, но, в общем, оно было лояльно власти и свою роль сыграло.

Когда мы шли пешком, с этого совещания: А. К. Клафтон, проф. Д. В. Болдырев, Н. В. Устрялов, С. Б. Сверженский, по Любинскому проспекту, через мост на Омке, в кафе «Люкс», и когда, потом, мы в этом кафе сидели и обменивались впечатлениями от открытия предпарламента, завязался спор о роли, которую сыграет омская власть в исторических судьбах России.

Помню хорошо, что Устрялов настойчиво доказывал, что эпоха Омска будет малым этапом в ходе русской революции и в истории России имена омских деятелей не появятся, сохранится имя только адмирала Колчака. Нам всем в душе было немного обидно от этих слов. Устрялов добавил:

— Вообще в истории не было примера, чтобы окраины побеждали центр!

Пессимизм все более овладевал сознанием человека, которому в Омске судьба уготовала играть ту же роль, которую в Москве играл Свердлов, он был председателем центр, комит. Восточного отдела партии Народной Свободы, единственной партии, которая имела известное право говорить, что она близка власти.

Партия, пытавшаяся править

Государственное экономическое совещание открылось, но столкновение личных и групповых, даже в среде только что перед тем видоизмененного совета министров оно, ни ликвидировать, ни уменьшить не могло, тем более, что являлось органом сугубо законосовещательным, с ограниченной компетенцией по части вмешательства в дела омского государства.

Рядом с Совмином, рядом с экономическим совещаньем развивала свою деятельность партия народной свободы или, вернее, те лица, которые в Омске эту партию, если не представляли, то от имени ее говорили. Тут сказалась, до известной степени, заразительность большевистского примера: в Москве правила партия, должна была, так или иначе, править партия и в Омске! Править при диктатуре ей не удавалось, но бурлить страстями она могла, тем более, что ряд ее видных членов занимал в правительстве или около правительства ответственные места.

Яркий правый кадет стал министром внутренних дел (В. Н. Пепеляев), другой крайний кадет, адвокат Жардецкий, исполнял роль омской Кассандры, наше Бюро Печати было как бы гнездом активного кадетства: директор-распорядитель А. К. Клафтон, член правления Н. В. Лопухин, управляющий делами А. И Коробов, помощник Клафтона проф. Н. В. Устрялов, директор РТА доцент Сверженский, главный редактор «Правительственного Вестника» Кудрявцев — все были кадеты. Мне, не кадету, было по началу как-то даже странно среди них, чувство, должно быть, напоминающее ощущения советского беспартийного, когда тот попадает на заседание парт-ячейки. Потому что и при встречах со всеми и в разговорах с тем или иным отдельный лицом у нас, в верхах Русского Бюро Печати, я все время чувствовал себя в кадетской атмосфере.

Но внутри нашего Бюро кадеты были, конечно, гораздо сильнее, чем в правительстве или замкнутом окружении Адмирала, хотя самый близкий к Правителю, на ступенях омской иерархии, проф. Тельберг, главноуправляющий делами, министр юстиции и генерал-прокурор, тоже числился в рядах кадетской партии.

В июне и в июле кадеты стали проявлять особую активность, потому что им хотелось придать правящему аппарату политическую однородность; Премьер Вологодский, бывший эсер, бывший областник, «сибирские корни», да и вообще человек тихий, осторожный, человек полумер, внешне серенький, их никак не устраивал.

На пост активного премьера они выдвигали В. Н. Пепеляева. Пепеляева в Сибири также хорошо знали, как и Вологодского. Член Государственной Думы, едва ли не самый видный из всех, удивительно посредственных и бездарных, членов Государственной Думы от Сибири. О нем писали и говорили; в годы войны он сформировал питательный отряд и работал с ним на фронте. Он посылался в Кронштадт в первые дни революции восстанавливать порядок, имея какое-то отношение к восстанию Корнилова, был членом московского Национального Центра, приложил свою руку к свержению уфимской Директории, обнаружил похвальную ретивость на посту директора департамента полиции, а, сверх всего прочего, был братом героя-генерала А. Н. Пепеляева.

Хотя и от «сибирских корней», но развернувшийся во всероссийской масштабе, Виктор Николаевич Пепеляев казался его однопартийцем, наиболее подходящим премьером для того периода омской власти, который должен быть охарактеризован, как «российский масштаб» (заимствую термин у Гинса).

Я помню первую встречу мою с Пепеляевым, в январе 1919 года, в длинном, темном и склеподобном коридоре здания

не то областного правления, не то казачьего управления, — память теперь изменяет, — где помещалось министерство внутренних дел и департамент полиции, во главе которого «сознательно стал», после прихода к власти адмирала Колчака, Пепеляев.

Меня поразила его крупная фигура в довольно кургузом, видавшем лучшие виды, так сказать, наверное, «думском», сюртуке, из которого он не то вырос, не то раздобрел до того, что фалды не могли сходиться. У него был голос, как раз для митинговых выступлений, лицо с мясистыми щеками, бульдожьего типа, но энергичное.

Редко когда так обманывает наружность — по внешности это была воплощенная твердость и воля, но, на самом деле, мужеством Пепеляев совсем не обладал, возвышался потому, что был карьерист, и умирал так стыдно и нехорошо, что до сих пор, при воспоминании о подробностях казни этого несчастного человека, становится больно и за него и, в особенности, за Адмирала, которому поведение Пепеляева перед расстрелом, конечно, еще больше отравило, и без того до предела горькую, чашу мук Голгофы.

Кроме Вологодского, кадеты почему-то вдруг решили убрать с поста министра иностранных дел И. И. Сукина. Подсказал ли им тот же Пепеляев, что в его будущем кабинете «американской ориентации» места быть не может, или кадеты хотели видеть на этом посту «своего человека», которым почитался Жуковский, или мозолила всем глаза молодость и заносчивость Сукина, сейчас не помню подробностей. Но Сукину решено было дать бой, и ему была подготовлена ловушка.

В Омске собрался съезд восточных отделов партии Народной Свободы и в повестку съезда включили вопрос о внешней политике. Министра иностранных дел любезно пригласили выступить на съезде. Сверх ожиданий, И. И. Сукин предложение принял. Это было его первым и его последним политическим выступлением в Омске вне стен залы заседании Совмина.

Когда кадеты или, вернее, их коноводы: Устрялов, Жардецкий и др. узнали, что Сукин будет говорить, их радости не было границ. Они заранее предвкушали, как они разделают под орех, во время предложения министру вопросов, его внешнюю политику и тем предрешат его отставку.

Как не кадет, я на конференции присутствовать не мог, но мне, заведывающему иностранным департаментом Р. Б. П. и человеку, каждый день бывавшему на докладе у Сукина, до известной степени увязанному с его политикой, было в высшей степени интересно узнать, чем все это кончится.

Конференция не была публичной и о докладе Сукина, кроме кадет, публика заранее не оповещалась, но Сверженский мне проговорился и я, дружа с ним, настоял, чтобы сразу же после доклада Сукина, он пришел в Бюро и рассказал мне, что там было. От волнения я не мог оставаться в своем кабинете и ко времени, когда Сверженский мог возвратиться, пошел к нему в кабинет и ждал его возвращения. И вот, как сейчас помню этот момент.

Тут надо еще добавить, что мне были известны и подробности хитро задуманной атаки на И. И. Сукина. Заговорщики несколько раз собирались вместе, и я предполагал, что в курсе их планов были и Жуковский, метивший на место Сукина, и Елачич, с которым у меня произошел описанный выше инцидент с телеграммой Ауслендера и который, после этой истории, точил зуб на министра.

Были тщательно разработаны и даже записаны вопросы, с которыми Устрялов и другие должны были обратиться к Сукину тотчас по окончании его доклада, и вопросы эти были составлены один другого каверзнее.

И вот, когда мое напряженное ожидание возвращения Сверженскаго с кадетской конференции достигло своего зенита, вдруг распахивается дверь и бомбой влетает сам Сверженский, а, за ним, Устрялов, Кудрявцев, Митаревский, умерший уже в эмиграции и прославившийся в Китае тем,

что опубликовал в 1927 году на английской языке книгу о «Советской заговоре» по документам, захваченным жандармами маршала Чжан Цяо-лина в канцелярии советского военного агента в Пекине в апреле 1927 года.

— Я вам говорил, я вам говорил! — восклицал проворный Сверженский, в состоянии явного возбуждения.

— Нет, это невероятно, — пел в нос, своим московским говорком, восторженный проф. Устрялов — кто мог бы это ожидать? Это блестяще! Это воистину замечательно!..

— Да в чем дело, господа? — спросил я, ничего не понимая, и поначалу думая, что они съели бедного Сукина живьем.

И. В. Устрялов, захлебываясь от восхищения (он умел, по-спортсменски, признавать высокие качества противника), рассказал, что Сукин, точно он был кем-то предупрежден, так построил свой доклад пленуму партии, по вопросам внешней политики, так глубоко и ярко нарисовал создавшуюся политическую конъюнктуру, так убедительно представил линию, направление и уклон своей дипломатии, что, на все заготовленные заранее его врагами самые каверзные вопросы он, не дожидаясь этих вопросов, дал настолько обоснованный ответ, что вместо интерпелляции, присутствовавшие устроили молодому министру овацию и, наперебой пожимали ему после заседания руку.

— Вот видите, — сказал я вожакам кадетского актива, — я вам все время говорил, что он на редкость одаренный человек.

Кроме Сукина и Вологодского кадеты, в середине лета, все время подбирались и к И. А. Михайлову. Он тоже был «сибирскими корнями»; он был влиятелен, он не допускал постороннего вмешательства в дела своего ведомства, он дружил с Сукиным. Так что, отчасти, победа Сукина ослабила поход кадетов и против Михайлова. Впоследствии, однако, Михайлова сменил Л. В. фон-Гойер, бывший наш финансовый агент в Пекине и один из столпов Русско-Азиатского банка.

Но кадетская группировка была, конечно, не единственной в Омске, она была только более влиятельной в окружении центра верховной власти.

В Омске существовал и национальный центр, с программой неясной и неопределенной, но в его рядах находились лица с «серьезной репутацией», как выразился один талантливый журналист.

Был в Омске и демократический союз, который по своим политическим устремлениям близко подходил к союзу Возрождения.

Кстати, демократический союз тоже все время настаивал на создании политически солидарного кабинета. Политическая солидарность понималась и этим союзом не в качестве ответственности перед тем или иным предпарламентом, и перед верховной властью.

Справедливо также отметить, что хотя ка-де очень хотели быть в Омске правящей партией, но таковой они не были, потому что их принципиально всероссийский масштаб встречая глухое, но стойкое противодействие со стороны подлинно сибирской общественности.

Осенью возобладала несколько иная тенденция — были получены сведения, что в Омск отправились из Европы несколько выдающихся общественно-политических деятелей, среди них С. М. Третьяков.

И вот все надежды по улучшению создавшегося положения и даже в отношении прекращения свары между местными людьми, были, наивно и трогательно, возложены на приезд этих своеобразных варягов.

Нашла свое осуществление старая русская поговорка: «вот приедет барин, барин нас рассудит».

«Барин» приехал, но ничего не разрешил, никого толком не рассудил. Но это уже относится к периоду, когда меня в Омске не было.

Омские интервью

Вот передо мною, среди оберегаемых документов, лежат оригиналы двух интервью, взятых в самом начале июля 1919 года и датированных, оба, четырнадцатым числом, с двумя, в то время самыми влиятельными в Омске людьми, — начальником штаба Верховного Главнокомандующего и военным министром генералом Д. А. Лебедевым и министром финансов И. А. Михайловым. Эти интервью предназначалось для газет Юга России, куда должны были быть отправлены с курьером, следовавшим через уральскую степь и Каспий. Были ли эти интервью напечатаны на Юге, мне неизвестно, но в мемуарной литературе они появляются впервые.

Читатель, сам теперь хорошо знакомый с истинным положением Омска, по тем воспоминаниям, которые мною даны, без труда отличит в обоих этих официальных заявлениях руководителей власти, где правда, а где преувеличение или замалчивание правды.

Во всяком случае, не только от оригиналов этих интервью, написанных на типично омской, уже пожелтевшей, бумаге, сбитой машинкой, под копирку, но и по тону их и стилю, так волнующе «пахнет» той далекой, отошедшей в историю эпохой, что мне не хотелось ни одного слова к этим интервью добавить, ни выбросить из них чего-либо. Это — исторические документы, сознательно публикуемые мною в том виде, как они сохранились.

Начальник штаба Верховного Главнокомандующего ген. Лебедев любезно ознакомил меня с историей развития боевых операций армий Адмирала А. В. Колчака, начиная с марта месяца, и по сей день, — так начинается это первое интервью.

— Когда закончится эта беспримерная война и можно будет спокойно оглянуться назад на пройденный тернистый путь, — заявил генерал, — только тогда мы по настоящему

оценим нашу работу по созданию боеспособной русской армии и водворению в стране законности и мира.

Ноябрьский омский переворот явился следствием почти полного разложения армий Директории, обладавшей, в начале своего образования, прекрасными войсками, с которыми, при надлежащем твердом политическом курсе и управлении можно, было тогда пройти по всей России. Все и армия, и общество поняли, что таким путем далее идти нельзя и свергли слабовольную Директорию. Верховная власть была вручена Адмиралу Колчаку, к которому тогда, в момент острой опасности и всеобщего замешательства, обратились все взоры с мольбою о спасении.

Верховному Правителю досталось необыкновенно тяжелое наследство. Сторонники старой учредиловки, недовольные падением Директории, начали против нас открытую компанию, призывая войска и общество к явному мятежу против Верховной власти. В таких неблагоприятных условиях мы выдержали всю зимнюю кампанию. В конце марта дела еще более ухудшились. В это время мы имели следующие силы: на Уфимском фронте у нас стояли чехи с небольшим отрядом ген. Каппеля, на левой фланге Оренбургские и Уральские казаки и небольшой отряд башкир.

Чехов и оренбургцев было много, но надежда на них уже была плохая. Учредиловцы совершенно разложили их своей преступной агитацией и чехи, вдруг, стали массами оставлять фронт и нам приходилось наскоро затыкать внезапно образовавшиеся бреши небольшими, плохо вооруженными, отрядами уральской конницы. Учредиловцы почувствовали себя настолько сильными, что решились даже на открытое выступление.

Виктор Чернов, Веденяпин, Вольский и Бруншвит сорганизовались в Уфе, подняли против нас местный гарнизон, захватили радиостанцию и начали посылать всему миру протесты и воззвания антиправительственного характера.

Нам нужно было, во что бы то ни стало, уничтожить это ядовитое гнездо, но дело усложнилось вмешательством чехов, которые, засев в Челябинске, не пропускали в Уфу нашу карательную экспедицию. Учредиловцам, помимо того, удалось еще разложить и башкир, находившихся на уфимском фронте. Их командир Валидов — член Учредительного собрания, примкнул к бунтовщикам и, не давал нам двинуть против Уфы войска, с фронта. Нам пришлось прибегнуть к самым решительным мерам. Ночью наш отряд, воспользовавшись некоторой оплошностью чехов, прошел Челябинск, а, затем, занял Уфу. Человек двадцать учредиловцев были арестованы, но многим главарям, в том числе Виктору Чернову, удалось бежать, и они перебрались в Совдепию. Валидов также был в числе спасшихся от ареста. Он бежал в Башкирию и там склонил башкир перейти на сторону советской власти. Башкиры открыли фронт южнее Уфы, и это создало новые осложнения в общей военной обстановке. В Оренбурге учредиловцы пытались свергнуть атамана Дутова и подняли мятеж, в Омске было вооруженное выступление большевиков, на Дальнем Востоке назревали осложнения с атаманом Семеновым, на почве личных честолюбий местных сепаратистов.

Большевики воспользовались нашими внутренними неурядицами и предприняли энергичное наступление, стремясь вбить клин между оренбургцами и уральцами. Пал Оренбург и сдался Уральск. Красные наступали огромными силами и с Юга, на Троицк, со стороны Орска и Челябинска, и с Востока на Лбищенск, а затем вниз по Уралу. Маленькое уральское войско изнемогало в неравной борьбе. Красные наседали на него все сильнее и упорнее, грозя сбросить уральцев в море. С Дона также приходили к нам неутешительные вести. Мы видели, что красные вновь приближаются к Ростову и Новочеркасску и опасались повторения калединской трагедии.

На Севере положение также рисовалось отчаянным. Американская пресса кричала о необходимости отозвания союзных войск из России. В тылу, как зловещие зарницы перед грозой, вспыхивали волнения и большевистские восстания.

Но хуже всего, что союзники заговорили, вдруг, о необходимости образования контакта с большевиками и на политическом горизонте показались вдруг, из тумана союзнической дипломатии, зловещие: «Принцевы острова», как синоним нового позора России.

Чтобы разом повернуть всю обстановку в лучшую сторону, нужны были исключительно героические меры. И Верховный Правитель на них решился.

Да и вообще медлить было нельзя! Красные сосредоточили в низовьях Волги огромные запасы хлеба и хлопка, чтобы, с открытием навигации, доставить его в голодную Совдепию и возродить замершие фабрики. Это при успехе дало бы им силы для новой зимней компании. Красные не считали, очевидно, уже нас способными к активным действиям и ослабили напряжение. Пользуясь этим, мы сосредоточили ударную группу восточнее Бирска именно там, где красные менее всего могли ожидать нашего появления. Успех этой операции зависел исключительно от быстроты переброски войск. Мы посадили пехоту на подводы и перебросили ее по трудной горной дороге вглубь района на 150 верст почти в течение одних суток.

Мы взяли для удара бирское направление и, заняв Бирск, стремительно вышли в тыл челябинской группе красных, захватив ст. Чешму. Результаты наступления превзошли наши ожидания.

Все коммуникационные пути красных на самарском направлении были теперь в наших руках. Советские войска бежали, охваченные паникой, на Юг, бросая все, что только имели на нашем фронте.

Мы взяли Уфу, Елабугу, Бугульму и подошли почти вплотную к Волге. Положение правительства тотчас укрепилось. Наши победоносные войска встречались населением с энтузиазмом. Союзники тотчас переменили фронт и громко заговорили о близком признании нашего правительства. Чтобы остановить бегущий фронт, красные сняли с уральского района одну дивизию, но это дало возможность уральцам воспрянуть с силами и они, перейдя в свою очередь в наступление, погнали большевистские банды с родных, заповедных степей.

Военное счастье явно склонялось в нашу сторону. Красные потеряли Калмыков, потом Лбищенск, затем казаки окружили Уральск и заперли там сильную группу советских войск. Оренбургцы также начали успешно наступать и вскоре связались с уральцами.

Красные забили тревогу. Ими тогда овладело такое же смятение и растерянность, как ныне, в дни грандиозной победы на фронте генерала Деникина.

Они начали стягивать на наш фронт все, что могли и откуда могли. С Юга, с Украины, с Севера и с центра России на Волгу были двинуты беспрерывные эшелоны красных войск. В течение двух недель красные успели сосредоточить против нашей Западной армии до 50 тысяч свежих войск и почти столько же против Сибирской армии.

Продвигаться вперед с нашими незначительными силами становилось труднее, но, несмотря на первую неудачу под Бугурусланом, мы все-таки решили двигаться далее, чтобы овладеть, наконец, Волгой.

Я лично уверен, что мы достигли бы успеха, если бы не последовавшие вскоре, друг за другом, две неожиданные неудачи, совершенно расстроившие наши расчеты и планы.

Первая из них произошла под Оренбургом и дала возможность красным базироваться на линии Оренбург-

Самара, — вторая на Самарском фронте и в тот самый момент, когда победа была уже в наших руках.

Началось с того, что очень надежная рабочая дивизия, считая, что их дело с освобождением Ижевского и Воткинского заводов от большевиков вполне закончено, бросили фронт и разошлись по домам, а затем украинская дивизия, стоявшая в ближайшем резерве под Самарой, вдруг, нам изменила и, вместо выступления на подмогу 11 дивизии, штурмовавшей последние укрепления красных, открывающие путь к Волге, ударила ей в тыл.

Не имея более резервов, мы принуждены были остановиться, а, затем, начать отступление.

Не смотря на полное численное превосходство противника, наш отход совершается в абсолютном порядке. Мы успеваем вполне эвакуировать свой тыл, не оставляя в руках красных значительной военной добычи.

Теперь наши войска отступают только по приказанию командования и в любой момент, когда это будет продиктовано стратегическими соображениями, они станут и перейдут в контрнаступление.

* * *

Министр финансов И. А. Михайлов сообщил следующие данные о состоянии и развитии правительственного бюджета.

— В настоящее время мы, — заявил министр, — стремимся к восстановлению единой финансовой территории во всех областях России, освобожденных силою оружия от большевистского ига.

В Восточной России, почти во всей Сибири, в этом отношении мы уже добились вполне благоприятных результатов: наши денежные знаки обращаются повсеместно, на всем необозримом пространстве, от берегов Тихого океана и до устья Урала.

Историю развития нашей финансовой системы необходимо разделить на два периода: — первый, с момента образования Директории и второй, после ноябрьского переворота, когда было образовано правительство Адмирала Колчака. Финансовая территория Директории не простиралась далее средней Сибири; Дальний Восток, Урал и Поволжье жили обособленной жизнью и имели свои собственные денежные знаки и только, уже после создания новой, подлинно всероссийской власти, нам удалось объединить эти области.

Первоначально цифра расходов колебалась от ста сорока до ста семидесяти четырех миллионов рублей в месяц, но, затем, с конца ноября, стала возрастать, достигнув к маю текущего года одного миллиарда рублей в месяц.

Наряду с расходами возросли и доходы. Так, в июле прошлого года, сумма дохода достигала едва 12 миллионов рублей в месяц, к ноябрю она сразу утроилась. В декабре мы уже имели приходу 65 миллионов, в январе — 90 миллионов руб. и, наконец, в мае месячный приход выражался в 150 миллионах руб.

Вся тяжесть нашего расходного баланса ложится, конечно, на военные издержки, достигающие солидной цифры — 700 миллионов в месяц.

Покрывать дефицит нам приходится выпуском бумажных денег и кредитными операциями. В настоящее время у нас находится в обращении денежных знаков, выпущенных Омским государственным банком, почти на четыре миллиарда рублей, из которых 500 миллионов пошло на погашение всевозможных местных денег и бон и один миллиард в обмен на аннулированные «керенки».

Наши доходы составляют: выручка от железных дор., составлявшая в последнем отчетном месяце (в мае) — 40 миллионов р.; продажа казенного спирта и водки — 5,5 миллионов р.; таможенные пошлины — 20 мил. р.; пря-

мые налоги — 21 мил. р. и, наконец, — косвенное обложение товаров — 15-ть мил. рублей.

В июне и в июле цифра доходов, вероятно, достигнет 200 миллионов рублей; тогда как увеличения расходов пока не предвидится.

Большие надежды мы возлагаем на предстоящий обильный урожай и поступление прямых и косвенных налогов. По мере внесения в страну успокоения, приток налогов быстро возрастает. Для наглядности приведу вам следующие красноречивые цифры.

В июле прошлого года прямых налогов поступило всего 925 т. р., в декабре уже 11 миллионов, а в мае с. г., как я указывал, выше 21-го мил. р. Точно такая же градация наблюдалась и по другим статьям. Так, продажа спирта дала нам в августе 18 года всего полтора миллиона р., в декабре — 22 м. р. и в мае — 50 м. р; железнодорожный сбор дал в январе — 27 м. р., в феврале — 31 м. р., в марте — 33 м. р., в апреле и в мае — по 40 мил. р. и т. д.

Кроме обычных поступлений, во второй половине текущего бюджетного года мы предполагаем получить огромные поступления от некоторых торгово-финансовых операций. Нам удалось, например, закупить по очень недорогой цене около трех миллионов пудов сахару на Яве. Сахар этот мы продаем населению по 6 р. фунт, что в четверть ниже нынешней рыночной стоимости. Точно такие же закупки сделаны нами чая и др. предметов первой необходимости.

Считаю необходимым отметить, — продолжал И. А. Михайлов, — что с каждым днем в населении все более и более возвращается вера в наши кредитные учреждения, что выражается в увеличении притока денежных вкладов.

На этом интервью обрывается. Окончание его утеряно.

Проф. Болдырев

В Омске, в колчаковский период, было немало людей в высшей степени интересных и содержательных, которые впоследствии играли большую роль даже в мировой политике или прославили себя на путях служения науке.

Граф Дамьен де Мартель, высокий комиссар Франции, впоследствии отправленный в Крым к генералу Врангелю и осуществивший в августе 1920 года признание этого правительства de facto, потом посланник в Китае, посол в Японии и высокий комиссар Сирии.

Ген. Альфред Нокс, высокий, подтянутый, как-то по-особому, по-военному элегантный, ныне сэр Альфред Нокс, многолетний член парламента и специалист по интерпелляциям правительству, когда дебаты касаются Востока.

Сэр Чарльз Эллиот, дипломат-ученый, впоследствии посол Великобритании в Токио, человек обративший на себя внимание работами еще на студенческой скамье, исследователь буддизма, изучивший до двадцати языков в том числе русский, финский, пали, китайский, свахили, японский и т. д. Он был атташе британского посольства в Санкт-Петербурге, был поверенным в делах в Танжере, вторым секретарем в Вашингтоне, генеральным консулом в Занзибаре и вице-канцлером Гонгонского университета.

Были знаменитости и сомнительной репутации, например, в свое время гремевший, генерал Гайда, которому только случай помешал стать чешским Гитлером или памятный по корниловскому делу Завойко, омский граф Калиостро, вместе, с которым вспоминается В. Н. Львов, чуть не ежедневный посетитель моего служебного кабинета, требовавший, чтобы правительство отправило его со специальной миссией в Америку, бывший обер-прокурор Святейшего Синода, в настоящее время, как будто, один из наиболее рьяных душителей Православной Церкви в СССР.

Но среди всех этих людей большой карьеры в прошлом, в настоящем или будущем, иностранцев и русских, военных и штатских особняком стоит в моей памяти светлый и мученический образ молодого профессора Дмитрия Васильевича Болдырева, который весною 1919 года прибыл к нам в Бюро Печати из Перми.

Еще до приезда Болдырева Н. В. Устрялов, сам большой стилист, пел мне восторженно дифирамбы публицистическим талантам Дмитрия Васильевича. И вот он прибыл. Высокий, несколько худой, совсем еще молодой, говоривший убедительно и просто, с лицом не из тех, про которые можно сказать, что они красивы, но с незабываемым лицом человека мысли и высоких, возвышенных чувств. Теперь так и хочется сказать «с лицом Саванаролы», хотя это было бы претенциозно и не совсем верно и точно, потому что как человек, в личной жизни, Дмитрий Васильевич был добр и мог быть нежен, как Франциск Ассизский, но на общественном и жертвенном служении, на путях действенного патриотизма он не знал компромиссов, был не только трибуном, но был гневный рыцарем: «огненная душа», как метко определил его Вс. Н. Иванов.

Болдырев вовсю развернулся в Омске уже тогда, когда меня не было, когда я уехал к атаману Калмыкову, в Хабаровск, и когда «проф. Болдырев, посвященный в стихарь, выступил всенародно на площади с проповедью с паперти Омского собора» (цитирую по статье В. Н. Иванова).

При мне же он был еще совсем новичком в Омске, оглядывался и присматривался, и было что-то детски трогательное в той радости, с какой он воспринимал возвращение от скудности жизни в выхолощенной большевиками Перми к омскому непритязательному обывательскому благополучию.

Как не требователен сам он был в личной жизни, показывает такой маленький случай: чуть не в первый же день нашего знакомства, он зашел ко мне на дом, попросить одно

лезвие для бритвы «жилетт». Бритва у него была, а лезвий давно уже не было.

Тут мы с ним и разговорились — это был замечательный человек, замечательный во всех отношениях. Я только что прочитал его статью о кинематографе. Он был первым в литературе, во всяком случае у нас в России, а, с точки зрения философски-исторической, может быть и первым в мире, который, еще по весне 1919 года, осознал и доказал влияние кинематографа, не красного, агитационного, а старого буржуазного кинематографа на революционизирование масс. Написана статья была мастерски. Ее можно было читать и перечитывать. Но, в ответ на мои восторги, Дмитрий Васильевич спросил:

— А правда ли, что у вас в Омске десять тысяч офицеров и никак их нельзя заставить и убедить идти на фронт, где офицеров не хватает?

Я сказал, что точной цифры не знаю, но что уклоняющихся много, и что у каждого почти министра имеется молодой офицер «для особых поручений». Уже тогда у Дмитрия Васильевича бродила мысль бросить в массу такую идею, которая могла бы зажечь пламя народного порыва.

Если бы не война, не революция, он развернулся бы в большого писателя и ученого философа. Оригинально, что это утверждение принадлежит журналу, выпущенному в Советской России через два года после гибели Д. В. Болдырева. В журнале петербургского Философского Общества, выходившем в 1922 году под редакцией Э. Л. Радлова и Н. О. Лосского мы находим статью Лосского, который говорит: «трудно освоиться с мыслью, что умер Д. В. Болдырев, молодой, талантливый, обещавший стать ярким выражением русского национального гения. Кто близко знал его, тому трудно говорить о нем: так ясно чувствуешь, что словами нельзя передать своеобразное ядро его личности, всегда цельно отражавшееся в его чувствах, поступках, философских

творениях, в его беллетристических набросках и во всяком его ответе на любимые проявления жизни, которые он умел описывать с художественным мастерством и милым юмором» (не надо забывать, кстати, что эти строки писались под советский ярмом, о человеке, который вплотную связал себя с тем, что в России тех времен называлось «колчаковщиной»).

Н. О. Лосский продолжает: «коснусь только его таланта, как он выразился в его философских и публицистических статьях. Стоит только прочитать его «Огненную Купель» (1915 год) или его статьи о церкви и духовенстве, напечатанные в журналах «Русская Мысль» (1917 г.) и «Русская свобода» (1917) и всякому станет ясно, что в нем была первозданная оригинальность, творческая душа в том, еще неослабленном виде, в каком она выходит из рук величайшего Творца, Господа Бога. Умение видеть вещи по-новому, не так, как их видят другие люди, и выразить свое видение ярким словом принадлежало ему в высшей степени. Пояснить эту форму оригинальности я могу лишь сравнением с лицом всем известный, — с В. В. Розановым, — с тем, однако, высоким отличием, что в мышлении и характере Дмитрия Васильевича не было ничего патологического, все дышало здоровьем и привлекало безупречною чистотою; к тому же мысль его, при художественности выражения, развивалась, тем не менее, строго последовательно.

Если бы ему суждено было пожить еще на земле, он, вероятно, создал бы особый вид литературных произведений, сочетающих в себе задачи искусства с задачами философии. Недаром, приступая к обоснованию своего философского мировоззрения, он поставил в центр его учение о фантазии, утверждающее, что фантазия не есть чисто субъективная деятельность, что она есть способность проникать в сферу объективного бытия, однако бытия иного типа, чем окружающая нас среда, несоизмеримого с нею. Взгляды эти могли бы дать пышный плод в философии религии, особенно в философии

мифологии, и послужить для оправдания конкретных сторон религии, столь ценимых православным религиозный сознанием.

Общение Дмитрия Васильевича со сверхчувственным миром придавало необыкновенную мощь его религиозный идеям и чувствам. Стоя у постели любимого отца в момент неотвратимо приближавшейся смерти, он читал над ним молитву с такою силою и спокойствием, какие может дать лишь вера в Царствие Небесное, достигшая степени видения и постижения, высшего, чем-то, какое получается из знания вещей, наблюдаемых чувственным оком. За несколько минут до своей смерти Д. В. молился: «Пресвятая Богородица, спаси меня, я не хочу умирать. Я так молод еще, у меня жена и маленький ребенок, и неоконченный философский труд; когда я окончу его, тогда скажу: Ныне отпущачи раба Твоего, Владыко, и я умру с миром».

— Труд его остался неоконченным — говорит проф. Лосский, — но, по-видимому, многое существенное в нем уже сказано. Будем надеяться, что рукопись сохранилась».

Сохранилась ли? В брошюре, которую Всеволод Иванов, один из друзей Д. В. Болдырева, опубликовал во Владивостоке в 1921 году, «Огненная Душа» он писал:

«Год тому назад в мае месяце в Иркутской тюремной больнице умер от последствий сыпного тифа, весь в язвах и ранах, молодой профессор Пермского Государственного Университета, по кафедре философии, Д. В. Болдырев. Умер, не дождавшись над собою суда Омского революционного трибунала, которым был приговорен к смерти и расстрелян его друг и соратник по омскому Русскому Бюро Печати А. К. Клафтон.

И далее Всеволод Иванов вспоминал: «Омск осенью 1919 года уже трепещет от близкой катастрофы. Фальшивой стала казаться толпа иностранцев, лихим потоком, в упоении победы над немцами, лившаяся в Сибирь, словно в увеселительную поездку от агентства Кука. Беспомощны теоретиче-

ские «коалиции» политических импотентов. Беспочвенны, безжертвенны, неоправданны, все речи, стерты, как старая монета, все и устные и печатные слова о «несчастной нашей родине». Надо было что-то элементарно простое, что-то библейски сильное, свежее, как вода:

«В день Преображения Господня, в Патриарший день, проф. Болдырев, посвященный в стихарь, выступил всенародно на площади с проповедью с паперти Омского собора.

«Зло надвигается, — говорил он, — красный, безбожный, отвергающий религию коммунизм идет на Сибирь. Этой дьявольской силе должна быть противопоставлена сила Св. Креста. Вера мертва без дел; она требует от христианина взять в руки винтовку».

Так началось крестоносное движение, нашедшее доступ к массам, хотя и исходило само от интеллигенции. Начались мобилизационные горячие собрания беженцев, систематическая проповедь в Алтайском, Барнаульском, Бийском, Новониколаевском уездах. Поднимались беженцы, поднималось старообрядчество, мусульманство и отклики истинной проповеди этой еще живут в тех районах. Появились на фронтах бешено дравшимся дружины Св. Креста и Зеленого Знамени Пророка, и все это было сделано решительностью и пылом горячего профессора и младшего унтер-офицера Д. В. Болдырева.

Добавить к этой удачной характеристике В. Н. Ивановым образа своего друга я ничего не хочу. Я хочу только еще раз напомнить о том профессоре-герое русской идеи, каким был Д. В. Болдырев, и хочу крепко верить, что все его писания будут тщательно изучены и полным собранием изданы с соответствующими комментариями к событиям эпохи не только для того, чтобы тем самым поставить нерукотворный памятник молодому русскому мыслителю и деятелю, но и для того, чтобы знакомить будущие поколения с источником животворящей национальной идеи.

Лембич в Омске

Этот фантаст информации, газетный человек по рождению, не знавший и не желавший знать никакой другой профессии, кроме профессии журналиста, человек, изучивший досконально тактику и стратегию газетного дела, ведавший медиумически цену газетной поддержки, и умевший показать и доказать смысл и значение свободного слова, был к себе и в отношении себя скромен.

Он раз только писал о себе или, вернее, его просили написать о себе, в день десятилетия харбинской «Зари», но он сел и написал даже не о своей газете, а о газетном служении вообще.

* * *

В Москве, на юге России, больше знали Лембича — человека. Он был всегда там, где развертывались больший события.

В Сибири, в Омске, а потом и на Дальнем Востоке Лембич — человек был заслонен Лембичем — редактором и далее издателем.

Но мне довелось увидеть Лембича в Сибири до тех пор, пока он стал редактировать, сразу большую и зашумевшую, газету «Русь».

Когда в июне месяце 1919 года М. С. Лембич прибыл в Омск от Деникина, то об этом сразу заговорили: в газетном мире, среди обывателей в особенности среди военных и даже в самом правительстве.

Не только потому, что прибыл представитель Кубанского войска, посланец главнокомандующего вооруженными силами Юга России, журналист, представлявший чуть не с полдюжины газет на юге России, не только потому, что этот человек пробрался через фронт красных, ехал не тем путем, каким ехали обычно сановники белых фронтов: от Марсели

на Владивосток и оттуда в Омск, а каспийскими степями через область Уральского войска, но, главным образом, потому, что это был «М. Лембич», которого по «Русскому Слову» читала в годы войны и знала вся Россия.

М. С. Лембича адмирал Колчак принял без промедления, и они долго, очень долго беседовали с глазу на глаз, несмотря на то, что Верховный Правитель был обычно очень занят, время его было расписано по минутам и даже министры старались до минимума сокращать свое пребывание у него на докладах.

Впрочем, неудивительно, что в разговоре с М. С. Лембичем адмирал Колчак забыл обо всех своих обязательствах и нарушил расписание дня — Лембич был такой необычайно увлекательный рассказчик, а тут было о чем поговорить.

Кто другой, как не этот журналист с цепким глазом, все знавший, все угадывавший, мог нарисовать в ярких образах ход борьбы с общим врагом на Юге, работу ген. Деникина, его сложные взаимоотношения с атаманом Красновым, роль ген. Драгомирова, положение фронтов, настроения тыла, поведение представителей Антанты, борьбу политических страстей в тылу, отношение народных масс к Добровольческой Армии и т. д.

После приема у адмирала Колчака, Лембич стал в Омске центром общего внимания: но он не почил на лаврах приехавшей знаменитости.

Когда состоялась его встреча с теми, в чьих руках были материальные средства, а эти люди сами искали с ним скорейшей встречи, он немедленно согласился приступить к созданию большой, независимой, общественной газеты.

Под Лембича деньги на такую газету сразу дали ряд кооперативных объединений, и особенно ратовал кооператор Дьяконов за то, чтобы Лембичу ни в чем не было отказа. Отвалили они ему сразу, на расходы по организации большой газеты, пять миллионов сибирских рублей.

Хотя эти рубли были и сибирские, но в июне месяце 1919 г. это была и на валюту огромная сумма денег.

Тут необходимо подчеркнуть, кстати, что М. С. Лембич с его именем, с его опытом и с его энергией мог, конечно, занять любое место в органах правительственной информации или в Русском Бюро Печати, которое, только что, тогда было сформировано, как акционерное предприятие, тоже совершенно не стеснявшееся в средствах: но Лембич и служба правительственного порядка были понятия несовместимые.

Он приехал ко мне с готовым предложением: предложил занять — не сомневаясь в согласии, пост редактора иностранного отдела. Я ему ответил, что очень польщен предложением, но принять его не могу, так как состою одним из директоров Р. Б. П., занят с утра до ночи, свободного времени абсолютно не имею и, кроме всего прочего, считаю неудобным совмещать полуправительственную службу с работой в частном издательстве.

— Во-первых, — возразил М. С Лембич, — в гражданской войне не может быть разделения на предприятия частные или не частные: враг у нас общий, придут большевики и в одинаковой степени реквизируют как частные, так и не частные капиталы. Во-вторых, мне вашего времени не надо. В ваших руках сосредоточена вся информация с заграницей, вот что я хочу: доступ к ней, но через вас, легально, а не контрабандой. Вам достаточно раз, два раза в неделю, когда у вас будет какая-нибудь действительно настоящая сенсация мне ее протелефонировать. Вот и все. Я выпишу вам сейчас аванс в тысячу рублей. Довольно? — и он полез в боковой карман, за чековой книжкой.

— Но позвольте, — возражал я, — я не имею права принимать авансы.

— Что вы говорите? А министр финансов имеет право? — спросил меня, М. С» Лембич и тут же рассказал, со своей совершенно обескураживающей откровенностью, что он только

что был у И.А. Михайлова, который дал свое согласие сотрудничать и которому он тоже предложил аванс.

— Начинать на широкую ногу газетное предприятие без авансов не полагается.

— Если Минфин может у вас работать, то я и подавно, — сказал я.

— Конечно! Я вовсе не собираюсь делать из этого секрета. Если меня Адмирал спросит, я ему скажу. Не стоит открывать такую газету, которая не забьет все остальные. А пути у нас общие — я приехал от Деникина, чтобы служить Колчаку. В нашу газету я хочу привлечь всех, кто нам нужен, чтобы это была лучшая газета на территории Омского правительства. Я доказывал Адмиралу, что он должен обещать мне наперед защиту от всяких цензоров. Я сам знаю, что надо печатать и что не надо, что вредно для дела борьбы с большевиками и что, наоборот, полезно. Когда в информационную работу вмешиваются генералы, или когда полицейский цензор старается в нашем деле наводить порядки, страдает не только газета, но вся та борьба, для которой мы здесь находимся. Адмирал обещая, сказал, что он мне верит и отдаст соответствующее распоряжение. Работа всяческих освагов или как они тут у вас называются — бюро печати, осведверхи, осканверхи это одно, а голос частной, независимой, большой, влиятельной газеты совсем другое. Читатель, — он вас слушает, а за проверкой придет к нам. А раз мы все идем в ногу, причем тут цензура? Цензура должна следить за теми, кто в оппозиции, кто занимается провокацией, кого можно спровоцировать!

Так началась наша совместная работа с М. С. Лембичем.

Потом состоялось первое собрание всех приглашенных сотрудников в газете. Оно было непродолжительным. Лембич, в присутствии всех, указал на каждого в отдельности, кто, что в газете будет делать. Общее руководство оставил за собой.

После выхода первого номера, в доме Дьяконова был обильный ужин, но Лембич пришел, когда мы все были уже за жарким и ушел обратно в редакцию, прежде чем было подано сладкое.

Дома его никогда не было, за исключением тех случаев, когда он кому-нибудь назначал на дому свидание: так, у него на дому, в маленькой комнате я с ним разговаривал накануне отъезда из Омска, когда он выдал мне корреспондентский билет и аванс.

Газета «Русь» помещалась в огромном, мрачном помещении, как манеж. Рядом была громадная типография, потом склад желтой бумаги. Лембич сидел в этом манеже вместе со всеми. Стол его был завален грудами бумаг. Газета под его руководством сразу пошла с огромным успехом.

Когда настал роковой день оставления Омска, М. С. Лембич каким-то чудом, в самую последнюю минуту, уже в закрытом для операций банке, достал потребную сумму денег и сам выплатил всем сотрудникам и служащим газеты не только то, что каждому причиталось к получению, но и заштатные, за два месяца вперед.

Газета «Русь» выходила в Омске до самого последнего дня существования белой власти, Лембич покинул Омск с одним из самых последних составов. В Ново-Николаевске он задержался, участвовал в совещании в вагоне Верховного Правителя, имея острое столкновение с ген. Сахаровым, которое могло стоить ему жизни, и в дальнейшей отступал вместе с чехами, имея при себе какой-то документ, лично от проф. Массарика, с которым прежде встречался.

Омский Парнас

Державный Омск не только выдерживал натиск красной бури, не только готовил поход на Москву и добивался от держав признания законным правительством России, не только кипел в котле политических интриг, но находил и людей и время для занятия поэзией или, вернее, отдыха в поэзии от страшного напряжения нервов, неизбежного, когда ведется братоубийственная война.

Собирались в Омске поэты и писатели зимою 1918–19 гг. где-то на Госфортовском переулке, в одной из канцелярий, в комнате хотя и просторной, но очень неуютной.

Все были скромно, более чем скромно, одеты — неизбежный френч гражданской войны, одинаковый по эту и по ту сторону фронта, галифе или даже просто обыкновенные брюки и сапоги, на плечах многих поэтов погоны, офицерские или вольноопределяющихся.

Многие имена стерлись уже в моей памяти, но, вот, помню ярче всех на этих собраниях подлинного поэта Георгия Маслова, писателя из столиц Сергея Ауслендера, в прошлом друга Михаила Кузмина, помню Буткевича, Н. Н. Каменского, какого-то местного омского смешного поэта, чуточку тронувшегося в напряженном желании обратить на себя внимание, Сорокина, имени его не помню, кажется Антон, далее, должен быть включен в этот перечень Саша Бенедиктов, поэт из Москвы и Томска, купеческий сын, очень внешне привлекательный, который занимал, если хотите, «пост» офицера для поручений при председателе совета министров, потом Левушка Тихомиров, сын попечителя Западносибирского учебного округа, который сочинил обо мне, еще в университете очаровательный триолет, юный артиллерийский прапорщик Николай Бессонов, так быстро и дико погибший — ему, на екатеринбургском фронте, оторвало снарядом голову, Михаил Барахович, уже с признанием, студент

московского Коммерческого Института, расстрелянный в конце 1919 года большевиками, Владимир Королев, именовавшийся Королевич, один из свиты знаменитого тогда экранного актера В. В. Максимова, жеманный и манерный, с которым мы когда-то, в первом классе гимназии, сидели на одной парте, а отцы наши служили по одному ведомству. Были и поэтессы, кажется, Надя Камова из Иркутска и Лидия Азадовская.

Когда приехали культурники из Перми: Вс. Иванов, Н. В. Устрялов, Проф. Д. В. Болдырев, доцент Л. А. Зандер, поэт Леонид Тяжелов, развернувшийся впоследствии в белом Владивостоке, подошло лето 19-го года, потом началось великое отступление от Камы, с Урала и дальше за Тобол, даже и поэтам стало не до литературных собраний.

Бывали на этих собраниях и журналисты: из них прежде всего вспоминаю Г. Н. Шипкова, блестящего полемиста, потом, уже в Харбине, создавшего, вместе с Лембичем, «Зарю».

Как сейчас помню Сергея Ауслендера, худого, изможденного, как-то сбитого с толку революцией, потерявшего себя, чуть горбившегося, державшего папиросу в длинных пальцах, похожих на пальцы наркомана, с его болезненной и ласковой улыбкой, тихой поступью, тихим голосом, человека, который понял, что он все потерял, что имел и потерял навсегда, и проходившего сквозь строй страшной эпохи бледной тенью. Он, как я выше цитировал, написал об Адмирале Колчаке замечательную брошюру, весь пафос и искренность которой будут оценены даже нашими врагами, когда отгремят и отойдут на страницы истории грозы, делящие нас, русских, и по сей день на два неслиянных мира.

В те времена еще живы были там, в России, и Александр Блок и Гумилев, мы читали, и до исступления спорили, о «Двенадцати», кажется, тогда впервые я услышал «Двенадцать» в непередаваемо выразительном чтении бессмысленно сгоревшего в Харбине поэта Леонида Ещина.

Но, все-таки, самым талантливым среди нас был Георгий Маслов: душа этого юного поэта, почти мальчика, который молод был даже для своей студенческой тужурки поверх защитных галифе, отошла в небытие в страдные дни отступления от Омска.

Маслов скончался в Красноярске, от сыпного тифа. Звезда его таланта и года не горела на небосклоне омского Парнаса, но он успел все-таки напечатать поэму «Аврора», его стихи печатались в лучших омских газетах и потом долго, несколько лет, перепечатывались, после великого отступления, в газетах Харбина и Владивостока.

Прирожденный мастер стиха, нежно и трепетно влюбленный в тридцатые годы прошлого века, он был бы украшением всероссийского литературного Пантеона, если бы не кровавая революция, не знавший пощады сыпняк.

Парнасец и пластик, Георгий Маслов вдохновенно собирал мед с цветов русской поэзии. Юноша, с едва пробивающимся пухом на верхней губе, он был уже не «начинающим» и «подающим надежды», а законченным мастером. Академичный, по-тютчевски скупой в словах, беспощадный к себе сектант строгой формы, он умел быть по-настоящему нежным, как Ахматова, и, в то же время, пребывал в своем творчестве напряженным, натянутым, как тугая тетива стихийной музы Александра Блока.

О поэме Георгия Маслова несколько лет назад подробно и хорошо писал Вс. Иванов.

Из мелких стихотворений у меня на памяти сейчас одно, датированное 1 августа 1919 г. в Омске.

Сердце — горячая, алая рана,
А я думал — оно мертво.
Злая стрела золотого колчана
Лукаво пронзила его.

Серого меха вашей ротонды
И маленьких пальцев, неслышного: «да»
И вашей улыбки, как у Джоконды
Мне не забыть никогда.

Мне хочется жизни — бесцельной и шумной,
Без грез и усталого сна,
Мне хочется петь, как Языков безумный,
О чарах любви и вина.

Забыть достиженья, падения, ошибки,
Лететь в темноту и гореть,
И в жгучих лучах этой грешной улыбки,
На миг засияв, умереть.

Последнее желание поэта исполнила жестокая его Судьба: он летел в темноту и горел. Засияв на миг — он умер. Бедный поэт, скорбная омская муза.

Даже в хоровых солдатских песнях она была разяще печальна. Кто из тех, кто боролся в белой стане, не знает слов Сибирского марша:

Вспоили вы нас и вскормили
Сибири родные поля,
И мы беззаветно любили
Тебя, страна снега и льда.

Теперь же грозный час борьбы настал,
Коварный враг на нас напал,
И каждому, кто Руси — сын
На бой с врагом лишь путь один.

Мы жили мечтою счастливой,
Глубоко Тебя полюбив,
Благие у нас все порывы,
Но кровью Тебя обагрим.

Сибири поля опустели,
Добровольцы готовы в поход.
За край родимый, к заветной цели,
Пусть каждый с верою идет.

Мы знаем, то время настанет,
Блеснут из-за тучи лучи
И радостный день засияет
И вложим мы в ножны мечи.

Подумать только, — сколько из этой молодежи погибли, прежде, чем мечи были вложены в ножны. Да и вложены ли они по сию пору? Недаром молодая, уже харбинская, поэтесса недавно напечатала в сборнике своих стихов:

От себялюбия унылого
Веди нас Божия рука —
Путем Кутепова, Корнилова
И адмирала Колчака.

А те, кто оказались в эмиграции, как горек был для них, поэтов, не приспособленных к жизни, хлеб изгнания: никогда не забыть мне следующих строчек Леонида Ещина:

Какими словами скажу
Какою строкою поведаю,
Что от стужи опять дрожу
И опять семь дней не обедаю.

Матерь Божия! Мне — тридцать два...
Двадцать лет перехожим каликою
Я живу лишь едва-едва,
Не живу, а жизнь свою мыкаю.

И, занывши от старых ран,
Я молю у Тебя, пред иконами:

— Даруй фанзу, курму и чифан
В той стране, что хранима драконами.

Какой Фирдуси, какой Верлэн сравнятся с нежностью и трепетом этих строф отчаяния молодого, недавно умершего и уже почти всеми забытого поэта. В трагедии России поэты испили до дна чашу испытаний: не помню целиком, но никогда не забуду первых строф чудесного стихотворения Георгия Маслова, написанного в тот же роковой 1919 год.

Как я Могу вас успокоить,
Я сам бездомный и усталый,
Я лишь целую ваши пальцы,
Смотрю в печальные глаза.

Досталось нам так много горя,
Что стали мы детьми большими
Смеемся, плачем вперемежку,
Себя находим лишь в вине.

Последнее прости

Я уехал из Омска 25 июля 1919 года, за четыре месяца до трагедии его оставления сначала правительством, а потом и отступавшими, под натиском красных, частями армии адмирала Колчака.

Отъезду моему предшествовали следующие обстоятельства. Не порывая связей с сибирскими кругами, хотя в областниках я никогда не состоял, дружа с проф. Н. Я. Новомбергским, почитая Г. Н. Потанина, будучи близок к людям, которые группировались вокруг руководящей томской газеты «Сибирская Жизнь», я не мог в кадетских сферах, забиравших власть, не иметь одиума, которым этот пришлый Омску российский элемент окружал тех, кого в Омске несколько свысока называли «сибирскими корнями».

Выше уже отмечалось, что Русское Бюро Печати, которое было акционировано и сделано независимым центром правительственной информации, находилось во власти активных кадет. Среди своих коллег по совету директоров я начинал чувствовать себя все более не по себе. Подсиживания в открытую еще не было, но холодок нарастал.

Тут как раз происходит ряд встреч моих с людьми, прибывшими из Америки. Они настаивают, чтобы пропаганде в Соединенных Штатах было уделено наибольшее внимание.

У меня рождается мысль отправиться в Нью-Йорк и, своим отъездом, разрешить ситуацию внутри Бюро Печати, где Н. В. Устрялов начинал все больше интересоваться моим отделом, и ему уже поручено было свыше составлять от имени иностранного отдела руководящие коммюнике для отправки их в Париж, Лондон и другие пункты.

На одном из утренних, ежедневных докладов я заговорил о своей командировке с И. И. Сукиным. Министр иностранных дел ответил мне не по существу вопроса:

— Вы хотите ехать? Это странно. На вашем месте я бы никуда отсюда не уезжал. Вы только подумайте, когда мы придем

в Москву, какая перед вами будет карьера, вы можете претендовать на прикомандирование к любому нашему посольству, хотя бы в том же Вашингтоне.

Прошло некоторое время, и случай помог мне поднять тот же вопрос с председателем совета министров П. В. Вологодским. Я ему докладывал о приезде из Америки делегата еврейских организаций, кажется Розенберга, который был послан в Омск выяснить на месте, правда ли власти поддерживают антиеврейские настроения.

Этот самоуверенный посланец, державшийся достаточно надменно, указал на ряд собранных им фактов, гласивших, например, что когда из действующей армии делаются в Омск представления о награждении офицеров-евреев знаками отличия. Ставка и военное министерство этим представленьям не дает ходу:

— Вот вам пример, — говорил мне этот делегат, — штабс-капитан Клячкин, представлен к боевой награде самим генералом Пепеляевым, и это представление до сих пор не утверждено!

Вологодский долго беседовал с еврейским делегатом и очень сокрушался над теми фактами, которыми перед ним оперировал этот Роземберг или Розенталь.

После окончания приема, я заговорил с Вологодским о необходимости съездить в Америку и наладить там информацию, дать интервью в ряде крупнейших городов, напечатать где потребуется нужные статьи, сделать доклады во влиятельных объединениях.

— Мысль хорошая, — ответил Петр Васильевич, — но нужны большие деньги на такую поездку. А министр финансов все время призывает нас к экономии. Надо, чтобы ваша докладная записка получила утверждение совета при Верховном Правителе.

Как раз вскоре после этого разговора я встретился с М. П. Головачевым, который мне сообщил, что некоторые

сибирские общественные деятели поспешили покинуть Омск — кое-кто уехал тайком, на подводе.

Далее Мстислав Петрович, во всех подробностях, живописал мне, как делегация сибирских общественных деятелей, в которой участвовал и проф. Новомбергский, получила аудиенцию у адмирала Колчака:

— Гинс был очень против этой встречи, он даже пытался не допустить ее.

Хотя я не смотрел на вещи столь мрачно, как проф. Головачев и не ждал расправы в открытую с лидерами сибирской общественности, каковой и не случилось, но этот разговор заставил меня ускорить выяснение вопроса о продолжении моего пребывания в Омске.

Мне был устроен прием у адмирала Колчака.

— Только на пять минут. Верховный очень занят, — сказал ген. Мартьянов.

Я волновался страшно. Рука Адмирала при рукопожатии была сухой и горячей. Он явно был озабочен и настроен нервно: я быстро доложил, что полагал бы необходимым присоединить свое скромное мнение к тем, кто настаивает, чтобы загодя осуществить, до зимы перевод правительственных учреждений в Иркутск и что, прежде чем начать эту эвакуацию, необходимо подготовить к ней общественное мнение Соединенных Штатов. Адмирал ответил категорически и безапелляционно:

— Российское правительство зачалось в Омске и в Омске, если суждено, оно погибнет.

На следующий день я отправился к ген. штаба полк. Клерже и просил его устроить мне билет в экспрессе на Владивосток. Георгий Иосифович очень обязательно распорядился отвести мне место в фель-егерском купе.

Я побывал у М. С. Лембича, получил от него корреспондентский билет и аванс, провожали меня на вокзале директор телеграфного агентства С. Б. Сверженский и мой

помощник по иностранному отделу. Путешествие не сопровождалось ничем особенно интересным. На станции Карымская я имел случай беседовать с атаманом Дутовым, который возвращался с Дальнего Востока: он был маленького роста и очень коренастый. Имя имел Всероссийское и к Омску был ближе других атаманов, хотя и он оставлял за собой свободу действий.

В Харбине я задержался на несколько дней и жил в доме редактора «Вестника Маньчжурии» И. А. Доброловского.

В этот самый момент в Харбин прибыл вновь назначенный из Омска дальневосточный генерал-губернатор ген. С. Н. Розанов. Провожали Розанова из Омска, как в свое время провожали на войну Куропаткина, молебнами, поднесли ему иконы. Особенно старалась загадочная графиня Ланская.

В Харбине Розанов решил расправится круто с железнодорожными рабочими за то, что те устроили забастовку. Он пожелал обсудить со мной обстановку.

Мы сидели в его купе, в его специальном поезде, около которого на перроне группировались пришедшие просить приема лидеры правых харбинских кругов.

Розанов был в одной рубашке, расстегнутой на волосатой груди. Лицо его было красным:

— Так по-вашему, — говорил он мне, — нельзя выпороть по местным условиям здешнего прокурора? А жаль, я бы начал с него...

У дверей купе стоял адъютант ген. Розанова кап. Крашенинников.

Не успел я выйти из поезда Розанова, как ко мне подошел высокий и тогда еще худой, не то поручик, не то капитан, Молотковский, состоявший при ген. Гайда и, сказал таинственным шепотом:

— Генерал очень хотел бы вас видеть и с вами переговорить, у него в поезде.

— Это мне неудобно, — ответил я, — генерал настроен против Омска, а я служу правительству адмирала Колчака.

Но Молоткойский настаивал. Любопытство журналиста превозмогло осторожность.

Генерал Гайда сидел в своем салоне, который был украшен шкурами, наподобие охотничьего кабинета. Он был высок, от низкого потолка салона, казался еще выше, он был худ, с тяжелым, хотя и оригинальным, лицом. Он был во френче, с двумя белыми Георгиевскими крестами — третьей степени за победы на берегах Камы и четвертой степени за победы первого сибирского похода летом 1918 года. Гайда говорил с заметным чешским акцентом, и жаловался мне часа полтора на омские к нему несправедливости. Впоследствии он пытался устроить бунт против омской власти во Владивостоке; ему помогали эсеры.

В Харбин пришла ко мне телеграмма, подписанная временно исполнявшим обязанность премьер-министра Михайловым, такого содержания:

«Ваша отставка советом министров принята». Я направился в Хабаровск, но переживания и испытания этого периода к Омску, как державному центру, отношения не имеют.

Колчак, как человек

Г. К. Гинс, со слов В. Н. Пепеляева, уверяет, что адмирал Колчак ничего не знал о перевороте, который привел к его диктатуре. У заговорщиков по свержению Директории совещания происходили в вагоне, на ветке омского вокзала.

Было решено предварительно «показать адмирала Колчака на фронте» и ему там заранее была подготовлена встреча. Адмиралу внушили мысль поехать на фронт и показаться. В этой части план оказался выполненным, как хотели заговорщики, в том числе и член Государственной Думы Пепеляев, впоследствии министр внутренних дел и, в последние недели омской власти, председатель совета министров, расстрелянный вместе с Адмиралом.

Расчет заговорщиков, желавших провести к власти Колчака, сводился к тому, что Адмирал, под влиянием того, что он увидел и услышал на фронте и под впечатлением теплой встречи, оказанной ему армией — не уклониться принять на себя власть диктатора, когда ему ее предложат.

Как это не похоже на путь, которым, впоследствии, пришли к власти Муссолини, Гитлер, Мустафа Кемаль, Пилсудский, Сталин и другие диктаторы нашего времени. И как не похожа диктатура их на диктатуру Колчака, которая должна быть названа трагической.

Когда, в ночь на 18 ноября 1918 года, были арестованы Авксентьев, Зензинов, Аргунов и Роговский и смущенный совет министров собрался на экстренное заседание, то и на это заседание, по уверению Гинса, Колчак пришел, не зная еще точно о своей судьбе. Может быть, догадывался, но не знал точно.

Только, что вернувшись с фронта, он был полон впечатлениями от этой поездки и до заседания, на котором был избран диктатором, рассказывал коллегам по правительству о

теплой встрече, ему оказанной и живописал условия, в которых приходится существовать на фронте солдатам.

Только тогда, когда министрам стало ясно, что в создавшихся условиях единственным решением может быть объявление диктатуры — «взоры всех обратились на адмирала Колчака». На прямой вопрос Вологодского — кто будет диктатором, начальник штаба Верховного Главнокомандующего Розанов назвал генерала Болдырева. Другие назвали имя адмирала Колчака.

Гинс спрашивает: «но знал ли кто-нибудь близко адмирала Колчака?» и отвечает «в совете министров — никто».

С Дальнего Востока в Омск были привезены кое-какие сведения о неуравновешенности его характера, но здесь, в Омске, его видели всегда сосредоточенным и спокойным. Колчак не отказался баллотироваться. За него были поданы все голоса, кроме одного. Один был подан за Болдырева. Все министры, ставленники Директории, оказались сторонниками единовластия.

Гинс далее описывает: «Адмирал принял избрание, но он еще не отдавал себе ясного отчета, как широка будет его власть. Это обнаружилось при установлении титула. Он был смущен предложенным званием «Верховного Правителя», ему казалось достаточным звание Верховного Главнокомандующего, с полномочиями в области охраны внутреннего порядка.

Заседание, на котором Колчак, по словам первого воззвания к населению, «принял крест власти» было настолько нервно-напряженным, что председатель Вологодский, в ответ на просьбы остаться у власти, — расплакался в заседании. Он был и членом только что погибшей Директории. Так, в слезах, он и передал бремя верховной власти Колчаку, который за это бремя заплатил своей кровью, на рассвете 7 февраля 1920 года.

Постановление правительства гласило:

«Вследствие чрезвычайных событий, прервавших деятельность Временного Всероссийского Правительства, Совет министров, с согласия наличных членов Временного Всероссийского Правительства, постановил принять на себя полноту верховной государственной власти».

«Постановление Совета министров от 18 ноября 1918 г. В виду тяжелого положения государства и необходимости сосредоточить всю полноту верховной власти в одних руках, Совет министров постановил передать, временно, осуществление верховной государственной власти адмиралу Колчаку, присвоив ему наименование Верховного Правителя».

С этим наименованием адмирал Колчак и перешел в историю. Никто из деятелей омского периода не вошел в историю, вошел только адмирал Колчак, и имя его стало на веки синонимом белой борьбы.

Близкий к Адмиралу в эпоху Омска, бытописатель этой эпохи, проф. Гинс старается дать такой образ покойного Верховного Правителя, набросанный им в результате длительных наблюдений и близких впечатлений от поездки с Адмиралом в Тобольск, на пароходе «Товарпар» осенью 1919 года.

«За эту поездку я впервые получил возможность ближе узнать адмирала. Что это за человек, которому выпала такая исключительная роль? Он добр и в то же время суров; отзывчив — и в то же время стесняется человеческих чувств, скрывает мягкость души напускною суровостью. Он проявляет нетерпеливость, упрямство, выходит из себя, грозит — и потом остывает, делается уступчивым, разводит безнадежно руками. Он рвется к народу, к солдатам, а когда видит их, не знает, что им сказать.

«Десять дней мы провели на одном пароходе, в близком соседстве по каютам и за общим столом кают-компании. Я видел, с каким удовольствием уходил адмирал к себе в каюту,

читать книги, и я понял, что он, прежде всего, моряк по привычкам. Вождь армии и вождь флота — люди совершенно различные. Бонапарт не может появиться среди моряков.

Корабль воспитывает привычку к комфорту и уединение каюты. В каюте рождаются мысли, составляются планы, вынашиваются решения, обогащаются знания. Адмирал командует флотом из каюты, не чувствуя людей, играя кораблями.

Теперь адмирал стал командующим на суше. Армии, как корабли, должны были заходить с флангов, поворачиваться, стоять на месте, и адмирал искренне удивлялся, когда такой корабль, как казачий корпус, вдруг поворачивался не туда, куда нужно, или дольше, чем следовало, стоял на месте. Он чувствовал себя беспомощным в этих сухопутных операциях гражданской войны, где психология значила больше, чем что-либо другое. Оттого, когда он видел генерала, он сейчас же хватался за него, как за якорь спасения. Каждый генерал, кто бы он ни был, казался ему авторитетом. Никакой министр не мог представляться ему выше по значению, чем генерал.

«И когда адмирал, объясняя нам тобольскую операцию, удивлялся, почему она не удалась, и покорно слушал доклад генерала Редько, удалившего героя Воткинского завода, полк. Юрьева, за то, что он без разрешения победил — я понял, что Верховного Главнокомандующего нет.

«Что же читал адмирал? Он взял с собою много книг. Я заметил среди них «Исторический Вестник». Он читал его, по-видимому, с увлечением. Но особенно занимали его в эту поездку «Протоколы сионских мудрецов». Ими он прямо зачитывался. Несколько раз он возвращался к ним в общих беседах, и голова его была полна анти-масонских настроений. Он уже готов был видеть масонов и среди окружающих, и в Директории, и среди членов иностранных миссий.

«Еще одна черта обнаружилась в этой непосредственности восприятия новой книжки. Адмирал был политически наивным человеком. Он не понимал сложности политического устройства, роли политических партий, игры честолюбий, как факторов государственной жизни, — пишет проф. Гинс, который конечно на многое изменил бы свой взгляд и по иному изложил бы характеристику адмирала Колчака, если бы опубликовал свою работу о нем не в 1920, а в 1935 году, после прихода к власти Гитлера в Германии и после того, как гений Муссолини доказал, что для вождя государства вовсе не надо, прежде всего, и всего больше «понимать сложности политического устройства, роль политических партий и игру честолюбий».

Гинс пишет: «Ему было совершенно недоступно и чуждо соотношение отдельных органов управления, и потому он вносил в их деятельность сумбур и путаницу, поручая одно и то же дело то одному, то другому. Достаточно сказать, что переписка с Деникиным по политическим вопросам велась сразу в трех учреждениях: ставке, министерстве иностранных дел и в управлении делами. Увы! — восклицал через год после описываемых событий Гинс, — приходится сказать, что не было у нас и Верховного Правителя. Адмирал был, по своему положению головой государственной власти. В ней все объединялось, все сходилось, но оттуда не шло по всем направлениям единой руководящей воли. Голова воспринимала, соглашалась, или отрицала, иногда диктовала свое, но никогда она не жила одною общей жизнью со всем организмом, не служила ее единым мозгом.

«Но, если адмирал был неудачным полководцем и политиком, то зато, как обладатель морских и технических знаний, он был выдающимся. В своей специальной области он обнаруживал редкое богатство эрудиции. Он весь преображался, когда речь заходила о знакомых ему вопросах, и говорил много и увлекательно. Как собеседник, он был обаятелен.

Много юмора, наблюдательности, огромный и разнообразный запас впечатлений, все сверкало, искрилось в его речи в эти минуты задушевной и простой беседы. И в это время чувствовалось, что этот человек мог оправдать надежды, что не напрасно он поднялся на такую высоту.

«Будь жизнь несколько спокойнее, будь его сотрудники более подготовленными — он вник бы в сущность управления, понял бы жизнь государственного механизма, как он понимал механизмы завода и корабля, единство всех частей, их взаимное соотношение, их стройность.

«Но в такое время, когда все были неподготовлены, когда никто даже из лучших профессиональных политиков не сумел найти методов успокоения революционной стихии — как мог справится с нею тот, кто всю жизнь учился быть хозяином не на суше и в огне битвы, а лишь на море и в царстве льдов, кто провел большую часть жизни не на широком общественном просторе, а в тесной и уединенной каюте.

«Адмирал в кругу близких людей был удивительно прост, обходителен и мил. Но, когда он одевался, чтобы выйти официально, он сразу становился другим: замкнутым, сухим, суровым. Не показывает ли это, что роль Верховного Правителя была навязана ему искусственно, что изображал он эту роль деланно, неестественно. Весь этикет, который создавали вокруг него свита и церемониймейстеры, был не по душе человеку, который привык к солдатской рубахе и паре офицерских ботфорт.

«Редкий по искренности патриот, прямой, честный, не умевший слукавить, умный, по натуре чуткий, темпераментный, но человек корабельной каюты, не привыкший управлять живыми существами, наивный в социальных и политических вопросах — вот каким представлялся мне адмирал Колчак после нашей поездки в Тобольск. Я одновременно полюбил его и потерял в него веру. Какую ответственность взяли на себя люди, — восклицает Г. К. Гинс,

в конце этой главы, — Которые в ночь на 18 ноября 1918 года решили выдвинуть адмирала на место Директории».

Эта характеристика не бесспорна, ей многое можно было бы возразить, особенно теперь, в свете новых фактов, ставших всем известными. Но она дана человеком, который во все время пребывания адмирала Колчака у власти работал вместе с ним, часто с ним встречался, пользовался его доверием и потом посвятил два едва ли не самых обстоятельных тома описанию эпопеи адмирала Колчака в Сибири. Во всяком случае, историк не может пройти мимо свидетельства, данного проф. Гинсом, которое мы выше привели столь полно.

* * *

А вот, другая характеристика адмирала Колчака, как человека, данная Н. В. Устряловым и напечатанная в «Вестнике Маньчжурии» от 7 марта 1920 года, человеком, который, когда писал эту характеристику, произвел переоценку политических ценностей, решил признаться в полном своем разочаровании в белой борьбе, решил перейти в стан врагов, сначала идеологически, выдвинув лозунг «смены вех» и возглавив это движение, а, потом и практически, поступив на службу к советскому правительству, с которым страстно боролся под эгидой адмирала Колчака.

Маленький харбинский собор. Тесно, молящихся много. Кругом знакомые омские лица, — случайные листья облетевшего, осыпавшегося дерева. Торжественные напевы панихиды. Ладан, свечи...

— Об упокоении души раба Божия новопреставленного воина Александра…

Эпилог. Грустное завершение целого периода истории русской революции, какая-то новая грань, какой-то новый предел…

Душа полна воспоминаниями, впечатлениями такого еще недавнего и такого уже далекого прошлого: — весна, лето, осень...

18 апреля прошлого года. Страстная неделя, великая пятница. Омский большой собор, торжественная служба в присутствии Верховного Правителя. В первый раз вижу его близко, близко. Недавно еще приехал из освобожденной Перми, полный надежды и веры в национальное воскресение, и так естественно, что хочется ближе, лучше всмотреться в него, человека, как бы воплощающего собою эту веру…

«Интересные черты — записываю впечатления у себя в дневнике. — Худой, сухой какой-то, быстрые, черные глаза, черные брови, облик энергичный, резкий, выразительный.

Если вдаться в фантазию, можно пожалуй, сказать, что чувствуется на этом лице некая печать рока, обреченности».

Да, да — именно что-то роковое было в его фигуре, во всем стиле его облика. Это чувствовалось даже и тогда, когда его армии подходили к Самаре и Казани, его министры готовились к управлению во всероссийском масштабе, «демократия» величала его «русским Вашингтоном», а генерал Жанен почтительно приносил ему поздравления и приветы от верных союзников.

Другой момент, следующий этап.

20 июля прошлого года. Гений победы отлетел от нас, мы отступаем, отданы Уфа, Пермь, Екатеринбург... Вместе с делегацией омского «общественного блока» (сижу против адмирала в большой столовой домика у Иртыша. Идет оживленная несколько взволнованная беседа на больные темы дня — о развале на фронте и в тылу, о пороках управления, о безобразиях местных властей об изъянах снабжения армий, наконец, о союзниках…

Адмирал волнуется, говорит быстро, жестикулирует. Затрагивается модный тогда вопрос о Японии, отмечает наивность тех, кто думает, что стоит лишь ее «попросить», и она немедленно пришлет дивизии. Говорит о союзниках вообще:

— Мое мнение, — они не заинтересованы в создании сильной России. Она им не нужна.

И тотчас добавляет:

— Повторяю, таково мое мнение. Но ведь приходиться руководствоваться не чувствами, а интересом государства. Разумеется, политика в смысле попыток привлечения помощи союзников будет продолжаться.

Подробно останавливается на вопросе об администрации.

— Скажу вам откровенно, я прямо поражаюсь отсутствием у нас порядочных людей. То же самое у Деникина — я недавно получил от него письмо... То же и у большевиков. Это — общее явление русское: нет людей. Худшие враги правительства — его собственные агенты. У большевиков на это есть чрезвычайка. Но не можем же мы им подражать, — мы идем под флагом закона, права... Я фактически могу расстрелять виновного агента власти, но я отдаю его под суд, и дело затягивается. Пусть общество поможет. Дайте, дайте мне людей!..

Беседовали долго, и общий стиль его характера, его интеллектуального и морального облика отчетливо запечатлевался в душе. Пусть это лишь «первое впечатление», но часто, ведь именно оно наиболее цепко и ярко схватывает главное, основное...

Вечером того же дня я записал у себя в дневнике:

«Диктатор... Всматривался в него, вслушивался в каждое слово, — ведь «живая история»... Трезвый, нервный ум, чуткий, усложненный. Благородство, величайшая простота, отсутствие всякой позы, фразы, аффектированности искусственной или показной. Думается, нет в нем тех отрицательных для человека обыкновенного, но простительных и даже нужных для «диктатора» свойств, которыми был богат Наполеон. Видимо лозунг «цель оправдывает средства» ему слишком чужд, органически не приемлем, хотя умом, быть может, он и сознает все его значение. В этом отношении другой герой нашего времени, вождь красной России Ленин — является ему живым и разительным контрастом.

Он говорит о своем бессилии, он излагает свои сомнения, колеблется, словно обращается за советами. Что это? Излишняя искренность «абсолютно честного» человека? Недостаточная напряженность воли?.. Ни того, ни другого свойства не было у Наполеона, нет у Ленина. Дай Бог, чтобы оба эти свойства не помешали их обладателю стать «историческим человеком». Может быть, я ошибаюсь, но не скрою, — не историческим величием, а лишь дыханием исключительной нравственной чистоты веяло от слов Верховного Правителя и всей его личности. Конечно, трудно судить современникам. Исторических людей создают не только их собственные характеры, но и окружающие обстоятельства. Но боюсь, — слишком «честен», слишком «хрупок», слишком «русский интеллигент», адмирал Колчак для «героя истории»...

И, помнится, всплывало в памяти суровое изречение Макиавелли: — «Государь, сохраняющий свою власть, должен уметь не быть добродетельным».

Затем осенью, когда уже грозные, катастрофические формы принимала опасность, довелось мне слышать искренния, как всегда, взволнованные слова адмирала, говорившего беженцам, организующим дружины св. креста:

— Войска бегут, войска не хотят сражаться, я объявляю призывы, они не удаются, — само население виновато в наших неудачах. Большевики побеждают не потому, что они сильны, а потому что мы слабы...

Он обличал, он возмущался, он дышал нравственным негодованием — и опять в нем виден был не «диктатор», а измученный, усталый человек, «раб Божий, воин Александр», страдающий в жгучей патриотической тревоге и страдание свое выставляющий на «всенародные очи»...

И наружность его становилась еще выразительнее, аскетичнее, печать рока горела на ней все ярче и ярче. Он искал выхода и не находил его, лихорадочно метался от Омска

к фронту, мечтая на фронте обрести спокойствие и уверенность в успехе, — но словно иронией злой судьбы его посещения и смотры, казалось, лишь приносили несчастья...

В последние дни перед падением Омска он выбросил героический лозунг «защита столицы, во что бы ни стало», сменил главнокомандующего... Увы, — это лишь ухудшило положение.

А потом — какая-то сплошная голгофа... Этот кошмарный поезд «Буки», затерянный на великом сибирском пути, это утонченное издевательство иностранцев, пожар повсеместных восстаний, одиночество... Приговор истории на берегах Ангары, падение Иркутска, — грустная страница дописана.

... «Трагическая личность», «роковой человек» — это определение так часто приходилось слышать от лиц, окружавших и близко знавших его...

И конец его, по истине, овеян каким-то исключительным, мрачным сложным трагизмом, перед которым бледнеют даже драматические очертания последних минут других героев несчастной русской Вандеи — Каледина, Корнилова...

В чем причины?

Снова и снова возникают разговоры о причинах Омской катастрофы.

В Ново-Николаевске, нынешний Новосибирск, после оставления Омска, делается судорожная попытка переключить белую борьбу на новые рельсы. Адмиралу в вагон доставляется запоздалый проект классовой борьбе большевиков противопоставить классовую борьбу справа на территории Сибири, смысл и содержание которой был бы в том, чтобы осуществить на практике древний лозунг «бей врага его оружием».

Там вооружали голытьбу против имущего класса, здесь говорили на совещании надо срочно вооружить имущих против голытьбы. Надо тотчас развить бешеную агитацию за то, чтобы купечество, кооператоры, зажиточное крестьянство давали и деньги и добровольцев на ополчение. По мысли этих, лихорадочно составленных докладов, надо было освободить части от пролетарского элемента — винтовка только буржую или сыну деревенского кулака. Там пропаганда безбожия, здесь будем создавать дружины Св. Креста и мусульманского Полумесяца. Словом, все наоборот тому, что там делается. Совпадение методов допускалось только по двум линиям: такой же террор, как и там против классового врага, против всех инакомыслящих, всех подозрительных и неблагонадежных, и такая же агитация и пропаганда.

Кое что из этих лихорадочных мыслей и конвульсивных предложений могло бы и пригодиться, если бы вводилось исподволь с середины 1918 года, когда полным пламенем разгорался пафос борьбы многих против, для многих ненавистной тогда, советской власти. Но этот момент был безвозвратно упущен. Больше того, сознательно или бессознательно делалось все, чтобы снизить, сбить пафос белой борьбы, направить ее по ложному следу. Теперь понимали,

что может быть и не стоило возвращать в разгар гражданской войны офицерам погоны, принадлежность армии целого государства, России, империи, которых в этот период как бы не было, временно не существовало. Погоны были не только удобной мишенью для советской пропаганды («золотопогонники»), но, что гораздо важнее, вместе с ними автоматически был восстановлен и весь уклад военно-бюрократической машины, который тяжелым грузом лег на плечи молодой сибирской армии, возникшей из добровольческих отрядов, бывшей по существу добровольческой, а не регулярной, не государственной, не имперской армией былого образца. Между тем, все прежние полковники и почетные генералы, очень нужные и очень полезные в обстановке, в атмосфере и условиях государственного масштаба, автоматически, вслед за восстановлением погон в белой стане включились в состав той армии, которая была им чужда, а, может быть, в некоторых отношениях, и враждебна. Вдруг, вновь, пошла мода на «кадровых офицеров» и та молодежь, которая, по ее заслугам, была вознесена на ответственные посты в самый ответственный период наступления у берегов Камы, остро почувствовала, что ей не доверяют и ею хотят руководить из омского военного центра, Ставки, захваченного, как выше описано, к весне 1919 года, заслуженными генерального штаба «настоящими генералами». Как бы не объяснять, и как бы, при помощи исторических документов не расценивать сущность перемен в высшем командовании омских ратей, в результате которых Гайда должен был уйти и у власти оказался ген. Дитерихс, не подлежит сомнению, что молодой генералитет во главе с подлинным героем гражданской войны в Сибири и на Урале А. Н. Пепеляевым, почувствовал себя уязвленным.

Может точно также было ошибкой отказаться от принципа добровольческого набора: воинская повинность в обстановке гражданской войны, при наличии в Сибири

неизжитых советофильских настроений, конечно была рискованным экспериментом. История создания отрядов атамана Калмыкова, отрядов атамана Семенова, атамана Анненкова, история всей вообще армии Сибирского правительства, наконец самый факт, выше только что указанный, что, после оставления Омска в Ново-Николаевске вновь конвульсивно попытались вернуться к добровольческим формированиям и укрепить эти формирования однородностью классового состава, — служат доказательством, что дело военного министра ген. Н. А. Степанова и его ближайшего помощника, начальника главного штаба ген. И. В. Марковского было ошибочным, ненужным и опасным делом. Этот, расцветший со стихийной быстротой, как принято выражаться — «махровым цветом», бюрократизм военных канцелярий, не избавил Омск даже от тех кадров тыловых героев, весьма многочисленных, которые всячески уклонялись идти на фронт.

Весною 1919 года проф. Д. В. Болдырев, тогда еще не начинавший свое добровольческое движение, пришел ко мне и с волнением рассказал, что в то время, когда на всех участках фронта фатальная нехватка командного состава и, вообще, число фактических бойцов на огромном по длине фронте против красных может быть уподоблено ниточке, — в Омске находится чуть ли не десять тысяч офицеров. Трудно сказать, была ли эта цифра преувеличенной, но, действительно, офицеры в Омске не только пожилые, но и молодежь попадалась на каждом шагу. Еще в те времена мы там возмущались, что у каждого министра непременно имеется по адъютанту; министр финансов И. А. Михайлов, в начале своей карьеры, вообще, кажется, не расставался с адъютантом, у премьера в секретарях состоял красивый, молодой, здоровый поручик, которому так и хотелось сказать: «Почему вы, поручик, не на фронте?».

Офицеров было в Омске много и офицеры в Омске брались за все. В частности, никак не удавалось наладить, как

следует, с подъемом и энтузиастически, агитацию и пропаганду, потому что этой работе, прежде всего, ставили препоны всюду и везде штабные. Информационное бюро занималось пропагандой, ставка Верховного работала в этой же области, точно также, как и Осканверх: «особая канцелярия Верховного», свой информационно-агитационный отдел был в военном министерстве, тем же занимались штабы и Сибирской армии и атамана Анненкова, какую-то важную, по информационной части, должность в ставке Верховного занимал холеный, раздушенный, всегда с благоуханной сигарой в углу презрительного рта ген. Рябиков и ген., тогда полковник, ген. штаба Г. И. Клерже, в здании Главного Штаба, тоже, в свою очередь, давал какую-то информацию и чем-то ведал по части агитации как в тылу, так и в при фронтовой полосе. В этой путанице и неразберихе трудно было найти общую линию, добиться единства действий, придать агитации и пропаганде ударный, а главное, срочный характер. Мы в Бюро Печати боролись, как могли с этим вмешательством военных, боролись всеми силами, но встречали со стороны тех, с кем мы боролись такое же точно наступательное противодействие нашим начинаниям, не смотря на то, что Верховный Правитель всю работу по информации и пропаганде сосредоточил к июню 1919 года монопольно в руках нашего Бюро Печати.

С военными нам, профессиональным журналистам и информаторам, было трудно работать еще и потому, что это, в большинстве своем на верхах, были заслуженные генералы и солидные полковники, которые с молоком матери впитали пренебрежительное, если не презрительное отношение не только ко всем штафиркам, но, прежде всего, ко всем, так называемым «писакам». Пользуясь и личными знакомствами, и связями, и даже дружбой в Омске среди военных кругов, даже я все время чувствовал в лучшем случае это ласково-ироническое их отношение к той работе по информации,

пропаганде и агитации, которую мы вели и с которой военные верхи лишь снисходительно мирились. Между тем (мне так в Омске казалось и я точно также думаю и теперь) министерство пропаганды, агитации и всяческого осведомления должно было быть, в обстановке гражданской войны, сделано первым, самым важным, самым ответственным, самым влиятельный министерством. Рядом с военным диктатором должен был быть его ближайший помощник — диктатор печати.

У большевиков это дело было иначе поставлено, прежде всего, потому, вероятно, что и Ленин и Троцкий и все прочие их заправилы, в большинстве, были профессиональными газетчиками и еще потому, что, как не пользовался Троцкий генштабистами, они там тона не задавали.

Помню, в разгар катастрофических неудач на Урале, по личному распоряжению Верховного Правителя было собрано экстренное заседание по вопросам информации и пропаганды в Ставке, под председательством ген. Рябикова. Мы собрались все: директора Бюро Печати, редакторы газет и мы все с полчаса бесцельно ждали пока к нам выйдет генерал Рябиков, принимавший ванну. На этом заседании, впервые, участвовал, прибывший с фронта, В. Н. Иванов, создатель и редактор талантливейшей фронтовой газеты «Сибирские Стрелки». Мы его сделали в Бюро Печати одним из вице-директоров. Он был уже без погон, но в защитной гимнастерке, и все вставал и тянулся перед генералами. После заседания, мы его, на перебой убеждали перестать тянуться и поставить генералов «в точку» за то, что каждый наш смелый, оригинальный, жизненный, яркий проект они опротестовывали с точки зрения нарушения правил, положений, уставов, циркуляров и т. д. Ни в чем особенном, больше того, ни в чем конкретной нельзя было винить гг. генералов, говорили они честно то, что думали, также хотели победы белым над красными, но, в качестве «распорядителей судеб», в качестве

ответственных руководителей они в гражданской войне часто были не на высоте положения, а, главное, они своим формализмом убивали энтузиазм других, тех, кто хотел и умел работать. Гражданская война должна была пользовать генштабистов, как специалистов военной науки, но, ни в коем случае не давать им ходу только потому, что они являются обладателями военного диплома, чинов, орденов, значков и всяческих иных знаков отличия, нахватанных в дореволюционную эпоху. Гражданская война должна делаться теми элементами, которых она сама выбросила на поверхность. В гражданской войне психология масс значит больше стратегии и иногда победа на поле сражения обращается в поражение для тыла.

Старый генералитет, верхи кадрового офицерства этого не могли, а, иногда, и не хотели понимать. Фатальная пропасть между теми, кто понял, что такое гражданская война и теми, кто не понял, нигде так не сказывалась, как именно в вопросах техники поддержания духа в армии и среди различных классов населения, в тылу.

Кстати, еще о чинах и погонах. Уже лет восемь после описываемых событий, в одну из моих встреч с атаманом Г. М. Семеновым, не то в 1927 году в Пекине, не то в 1928 году в Дайрене, когда мы, на летних досугах, вспоминали прошлое и обменивались мыслями о настоящем, я его спросил, может ли быть объяснено почему и зачем в его отряде было так много полковников? Атаман ответил не то в шутку, не то искренне, но очень характерно:

— Я нарочно легко давал производства, чтобы, когда у меня будут все в отряде полковники, все бы поняли, что в гражданскую войну чины и погоны не имеют того решающего значения, какое они имеют в регулярной армии, отстаивающей честь и достоинство государства.

По логике вещей — истерическое время, казалось бы, требовало истерических действий. Буре надо было противопо-

ставить бурю, классовой стихии, голытьбе, возводимой на пьедестал, надо было противопоставить стихию собственнического класса, красному террору — белый террор. Террор, конечно, был в белом стане, но, вот, была ли в нем поднята стихия собственничества, сознание купечеством, зажиточными крестьянами, состоятельным мещанством, всеми, кто, потом, жестоко пострадал на советской социалистической эксперименте и был в конец деклассирован, было ли сознание своего классового интереса, не менее законного, чем законен классовый интерес рабочих, — это большой вопрос.

Купечество, во всяком случае, могло бы жертвовать больше и деньгами, которых оно вскоре начисто лишилось, и людьми.. Строго говоря, в белой стане экзамен гражданственности выдержало только рядовое офицерство и, прежде всего, учащаяся молодежь — если кто боролся, умирал за национальную Россию, во имя белой мечты, то только они, рядовые наши офицеры, часто служившие в офицерских ротах рядовыми, и молодежь: студенты, юнкера, кадеты, даже гимназисты и реалисты.

Их, этих безвестных героев междоусобия, рыцарей белой идеи, действительно, упрекнуть не в чем. Им, «неизвестному добровольцу», и должна поставить памятник национальная Россия.

Конец.

Арнольдов Лев Валентинович

Жизнь и Революция:
гроза пятого года. Белый Омск

16+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *Д. Ананьева*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru



Издайте свою книгу у нас!



Для заметок

Для заметок

Для заметок